Франсуа
МОРИАК

Не всякий день встретишь на дороге святого, но не часто встретишь и того, кто способен вырвать у вас стон, крик, где слышится также и ужас, особенно явственно звучащий по мере того, как тени лет ложатся на ваше тело, подтачиваемое и разрушаемое временем и желанием, годами и не знающей утоления страстью. Еще ничего не написано о пытке старости, через которую проходят некоторые женщины, и для них-то ад начинается еще на этой земле.

Фарисейка

ISBN 5-275-00702-7

Франсуа МОРИАК

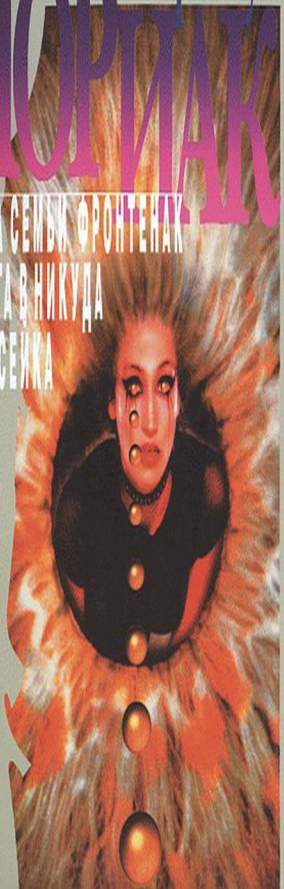
ТАЙНА СЕМЬИ ФРОНТЕНАК
ДОРОГА В НИКУДА
ФАРИСЕЙКА

Франсуа МОРИАК

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа
МОРИАК

ТАЙНА СЕМЬИ ФРОНТЕНАК
ДОРОГА В НИКУДА
ФАРИСЕЙКА



Тайна семьи Фронтенак
Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак. Тайна семьи Фронтенак
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
XXII

Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

Роман Ф. Мориака «Тайна семьи Фронтенак» — своего рода реквием особым семейным устоям, складывавшихся не один десяток лет у буржуазии юга Франции. 20 век безжалостно рушит их. Слово «семья» уже не являет собой единство цели, а самопожертвование для блага близких становится смешным.

Франсуа Мориак
Тайна семьи Фронтенак

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Ксавье Фронтенак бросил робкий взгляд на невестку, которая, пододвинув низкий стул ближе к камину, сидела очень прямо, не касаясь спинки, и вязала; он понял, что она раздражена. Он попытался вспомнить, что говорил за ужином, и все его высказывания показались ему лишенными какого бы то ни было лукавства; Ксавье вздохнул, провел сухой ладонью по голове.

Его взгляд остановился на большой кровати с витыми ножками, где восемь лет назад долго и мучительно умирал его старший брат, Мишель Фронтенак. Он вновь увидел запрокинутую голову, огромную шею, поросшую обильной щетиной, неутомимых июньских мух, которых никак не удавалось прогнать с этого потного лица. А сегодня ему, наверно, уже попытались бы сделать трепанацию черепа и, может быть, спасли бы его; Мишель был бы сейчас с ними. Он был бы с ними... Ксавье не мог оторвать глаз от этой постели и от этих стен. Хотя брат скончался вовсе не здесь: через неделю после похорон Бланш Фронтенак с пятью детьми покинула дом на улице Виталь-Карлес и нашла себе приют на четвертом этаже

особняка на улице Кюрсоль, где жила ее мать, госпожа Арно-Мике. Однако на окнах здесь были те же самые шторы, синие с желтыми цветами, и такие же покрывала на кровати. Комод и шкаф стояли друг против друга, как в прежней комнате. На камине все та же бронзовая дама в закрытом платье с длинными рукавами символизировала веру. Только лампу сменили: госпожа Фронтенак купила новую, вызывавшую восхищение у всей семьи: алебастровая колонна несла на себе хрустальный резервуар с фитилем, плавающим в керосине и напоминающим толстого червяка. Пламя делилось на множество раскаленных лепестков. Абажур представлял собой беспорядочное нагромождение кремовых кружев, украшенных букетом искусственных фиалок.

Это диво притягивало жадных до чтения детей. В честь приезда дяди Ксавье им дозволено было лечь спать в половине десятого. Старшие, Жан-Луи и Жозе, тут же, не теряя ни секунды, схватились за свои книги: первые два тома «Камизаров» Александра де Ламота[1]. Лежа на ковре с зажатыми двумя пальцами ушами, они погру-

[1] Примечания: 1

Ламот, Пьер Александр де (1823-1897) — французский прозаик; автор исторических романов, рассказов о морских приключениях, фантастических путешествиях в духе Жюля Верна.

жались, они проваливались в историю, и Ксавье Фронтенаку видны были только их круглые, стриженые головы, оттопыренные уши, испещренные шрамами большие коленки, грязные ноги и подкованные спереди ботинки с порванными и завязанными узелками шнурками.

Самый младший, Ив, которому никто не дал бы его десяти лет, не читал, а, сидя на табуретке, терся лицом о коленки Бланш, цеплялся за нее, словно какой-то инстинкт подталкивал его вернуться в тело, из которого он вышел. Он говорил себе, что между завтрашним утром с его ответами у доски и уроком немецкого языка, на котором господин Рош, возможно, будет его бить, и сегодняшним отходом ко сну простирается благословенная ночь. «Может, я умру, может, заболею...» Он нарочно заставлял себя просить добавки каждого блюда.

Позади кровати две маленькие девочки, Даниэль и Мари, учили катехизис. Слышен был их приглушенный смех. Благодаря атмосфере храма Сердца Иисусова, в которой они жили, занятые мыслями о своих учительницах, о своих подружках, им удавалось уединяться даже дома, и случалось, что, лежа бок о бок в своих кроватях, они щебетали еще и в одиннадцать часов.

А Ксавье Фронтенак все глядел на две круглые стриженые головки, на расположившихся у его ног детей Мишеля, последних Фронтенаков. И у этого стряпчего, у этого делового человека вдруг перехватило горло и быстрее забилось сердце: вот эта живая плоть произошла от его брата... Ему, безразличному к любой религии, не хотелось бы верить, что испытываемое им сейчас чувство имеет мистическую природу. Особые достоинства племянников ничего для него не значили: окажись Жан-Луи не тем блестящим учеником с острым умом и живым восприятием, каким он был, а обыкновенным маленьким оболтусом, дядя Ксавье все равно любил бы его; то, что делало их в его глазах бесценными, от них не зависело.

— Девять часов тридцать минут, — объявила Бланш Фронтенак. — В кровать! Не забудьте прочитать молитву.

В те вечера, когда у них бывал дядя Ксавье, они не молились вместе.

— Книги с собой в спальню не берите.

— Ты до какого места дошел, Жозе? — спросил Жан-Луи брата.

— До того, ты знаешь, когда Жан Кавалье...

Девочки подставили дяде свои чуть влажные лобики. Ив стоял сзади.

— Ты придешь подоткнуть мне одеяло? А, мамочка? Ты придешь подоткнуть мне одеяло?

— Если будешь так приставать, то не приду.

От двери самый тщедушный из ее сыновей бросил ей умоляющий взгляд. Его носки утопали в ботинках. По сравнению с худеньким личиком уши его казались очень большими. Левое веко у него отвисало и закрывало почти все глазное яблоко.

Когда дети ушли, Ксавье Фронтенак опять внимательно посмотрел на свою невестку: та ничуть не подобрела. Чем же он мог ее обидеть? Он говорил о женщинах долга, типичной представительницей которых была она сама. Он не понимал, почему подобные похвалы бесят ее. Бедняга с неуклюжей настойчивостью превозносил величие ее жертвенности, заявлял, что в мире нет ничего более прекрасного, чем женщина, хранящая верность покойному мужу и полностью посвятившая себя детям. В его глазах она существовала лишь в той мере, в какой была матерью маленьких Фронтенаков. Он никогда не думал о своей невестке как об одинокой молодой женщине, способной испытывать грусть, отчаяние. Ее судьба нисколько не интересовала его. Ему было важно, чтобы она не вышла повторно замуж,

чтобы она воспитывала детей Мишеля, и иных вопросов, связанных с ней, у него не возникало. Вот чего не прощала ему Бланш. Не то чтобы у нее возникали какие-то сожаления: едва оказавшись вдовой, она взвесила тяжесть своей жертвы и сознательно приняла свой крест; ничто не могло бы заставить ее изменить свое решение. Однако, будучи весьма набожной, обладая немного педантичной, суховатой религиозностью, она всегда считала, что без Бога никогда не нашла бы в себе силы так жить, ведь она была женщиной пылкой, с горячим сердцем. И сегодня, будь Ксавье внимательнее к ней, то посреди оставленных на ковре книг и беспорядка этого покинутого гнезда он бы увидел и пожалел эту трагическую мать, эти блестящие черные глаза, это пожелтевшее, изможденное лицо, на котором остатки красоты еще боролись с худобой и морщинами. Поседевшие, небрежно уложенные волосы придавали ей вид уже опустившейся и ничего не ожидающей от жизни женщины. Застегивавшаяся впереди черная кофточка плотно облегала ее худые плечи, высохшую грудь. Все ее существо выдавало усталость, изнеможение матери, заживо пожираемой своими детьми. Она не требовала, чтобы ею восхищались или чтобы ее жалели, ей хоте-

лось, чтобы ее понимали. Слепое безразличие деверя выводило ее из себя, делало вспыльчивой и несправедливой. Она раскаивалась и била себя в грудь, как только он уходил, но все ее благие намерения рассыпались в прах, стоило ей опять увидеть это невыразительное лицо, этого маленького человечка, не замечающего ее, перед которым она чувствовала себя несуществующей, обреченной на небытие.

Послышался слабый голосок. Это звал Ив: он не мог сдержаться и одновременно боялся быть услышанным.

— Ах! Этот ребенок!

Бланш Фронтенак встала, но навестила сначала старших сыновей. Они уже спали, сжимая ладанки в маленьких грязных ручонках. Она подоткнула им одеяла и большим пальцем начертала у них на лбу крест. Потом прошла в комнату девочек. Из-под двери пробивался свет. Заслышав шаги матери, они задули свечу. Госпожа Фронтенак зажгла ее опять. На столике между кроватями в кукольной тарелке были разложены дольки апельсина; в другой тарелке лежали тертый шоколад и кусочки печенья. Малышки спрятались под одеялами, из-под которых виднелись только заплетенные косички с выцветшими лентами.

— Лишаетесь десерта... и я помечу в вашей тетради, что вы не слушались.

Госпожа Фронтенак забрала остатки «обеда» с собой. Однако, едва закрыв дверь, она услышала взрывы хохота. В соседней комнатушке Ив не спал. Только он один имел право на ночничок; его тень вырисовывалась на стене, причем голова казалась огромной, а шея — тоненькой, как стебелек. Он сидел на постели весь в слезах и, чтобы не слышать упреков матери, уткнулся лицом ей в кофту. Она хотела было побранить его, но услышала, как безумно стучит его сердце, она чувствовала все его ребра, его лопатки. В такие моменты она ужасалась этому бесконечному страданию и баюкала его:

— Мой маленький глупыш... мой маленький дурачок... Сколько раз я говорила тебе, что ты не один? В сердце детей живет Иисус. Когда тебе страшно, нужно его позвать, и он утешит тебя.

— Нет, потому что я очень сильно согрешил... А вот когда ты, мама, здесь, то я твердо знаю, что ты здесь... Я дотрагиваюсь до тебя, чувствую тебя. Побудь тут еще немного.

Она сказала ему, что нужно спать, что ее ждет дядя Ксавье. Она уверила сына, что он находится в состоянии благодати: она знает все, что касается

ее маленького мальчика. Он стал успокаиваться; рыдания еще сотрясали его, но все реже и реже. Госпожа Фронтенак на цыпочках удалилась.

II

Когда она вернулась в комнату, Ксавье Фронтенак вздрогнул:

— Я, кажется, заснул... Эти прогулки по владениям немного меня утомляют...

— Кого вам упрекать, как не самого себя? — неприветливо ответила Бланш. — Зачем жить в Ангулеме, вдали от вашей семьи? После смерти Мишеля вы вполне могли бы продать свою контору. Было бы вполне естественно, если бы вы вернулись жить в Бордо и заняли бы его место в фирме, производящей дубовые клепки... Я знаю, что большая часть акций принадлежит нам, но ведь вся власть у компаньона Мишеля... Я не отрицаю, что этот Дюссель человек хороший, тем не менее из-за вас моим детям будет труднее занять в фирме подобающее место.

По мере того как Бланш говорила, она сама все сильнее ощущала несправедливость своих упреков и даже начала удивляться молчанию Ксавье: тот не протестовал, а только слушал, опустив голову, словно она разбередила у своего деверя какую-то тайную рану. А ведь ему для защиты достаточно было произнести всего лишь одно слово:

после смерти Фронтенака-отца, последовавшей за смертью его сына Мишеля, Ксавье отказался от своей части владений в пользу детей. Бланш сначала было подумала, что он сделал это, дабы не обременять себя заботой о них, но он, напротив, предложил управлять виноградниками, которые больше ему не принадлежали, и делал все, защищая интересы своих племянников. Раз в две недели, по пятницам, в любую погоду он в три часа выезжал из Ангулема и, добравшись до Бордо, садился на поезд до Лангона. Там он выходил, и около вокзала его уже ждала, в зависимости от погоды, закрытая или открытая коляска.

В двух километрах от этого городка, по общенациональной государственной дороге, на подступах к Преньяку, коляска въезжала в ворота, и Ксавье вдыхал знакомую горечь старых самшитовых кустов. Два флигеля, построенных прадедом, портили вид старинной обители XVIII века, где сменилось несколько поколений Фронтенаков. Он поднимался по закругленному крыльцу, его шаги гулко отдавались по плитам, он ощущал запах отсыревшей за зиму старой кретоновой обивки. Несмотря на то, что родители умерли вслед за старшим сыном, дом был попрежнему жилым. Одно из садовых помещений,

как и раньше, занимал садовник. Кучер, кухарка, горничная оставались на службе у тетки Фелисии, младшей сестры отца Ксавье, слабоумной от рождения (по слухам, врач при ее рождении слишком сильно сжал акушерские щипцы). Ксавье прежде всего отправлялся искать тетку, которая в теплое время года обычно сидела под навесом, а зимой дремала у печки, на кухне. Его не пугали ни закатившиеся глаза, под покрасневшими веками которых были видны только покрытые прожилками белки, ни перекошенный рот, ни пух вокруг подбородка, словно у подростка. Он с нежной почтительностью целовал ее в лоб, ведь это чудище звали Фелисией Фронтенак. Она носила фамилию Фронтенак и была родной сестрой его отца, единственной оставшейся в живых. И когда звонок звал к ужину, он шел к слабоумной и, взяв ее под руку, вел в столовую, усаживал напротив себя, повязывал вокруг шеи салфетку. Видел ли он вываливавшуюся из этого уродливого рта пищу? Слышал ли он, как она рыгает? Когда трапеза заканчивалась, он все так же церемонно отводил ее назад, перепоручая заботам старой Жанетты.

Потом Ксавье шел во флигель, откуда открывался вид на реку и на холмы, в ту огромную

комнату, где они с Мишелем жили много лет. Зимой там топили с утра до вечера. В теплое время года оба окна открывали, и он смотрел на виноградники, на луга. Прерывалась трель в развесистой катальпе[2], издавна облюбованной соловьями... Мишель подростком вставал, чтобы послушать их. Ксавье вновь видел длинную белую фигуру, склонившуюся над садом. Он кричит ему: «Мишель, ложись в постель! Это же глупо, ты простудишься». В течение всего нескольких дней и ночей цветущий виноградник пах резедой... Ксавье открывает томик Бальзака, хочет прогнать наваждение. Книга выскальзывает у него из рук, он думает о Мишеле и плачет.

Утром, с восьми часов, его уже ждала коляска, и он до самого вечера посещал владения своих племянников. Из Серне, с осушенных территорий, где делали дешевое красное вино, он направлялся в Респид, что в окрестностях Сен-Круа-дю-Мон, где вино получалось такое же хорошее, как в Сотерне; потом ехал в Куамер, по дороге в Кастельжалу: там стада коров доставляли одни огорчения.

Везде нужно было проверять, изучать счета, распознавать хитрости и уловки крестьян, что

[2] Примечания: 2

Деревья или кустарники семейства бигониевые с красивыми цветами.

было бы намного труднее без анонимных писем, которые Ксавье Фронтенак каждую неделю обнаруживал в своей почте. Проведя в борьбе за интересы племянников весь день, он возвращался настолько усталым, что после легкого ужина сразу ложился в постель. Ему казалось, что он хочет спать, но сон не шел: затухающий огонь в камине вдруг оживал и ярко освещал пол и красное дерево кресел, а весной пел соловей, которого слушала тень Мишеля.

На следующий день, в воскресенье, Ксавье вставал поздно, надевал накрахмаленную сорочку, брюки в полоску, пиджак из драпа или альпака, ботинки на пуговицах с удлиненными и заостренными носами, шляпу-котелок или канотье и шел на кладбище. Сторож приветствовал Ксавье еще издали. Все, что Ксавье мог сделать для своих покойников, он делал, обеспечивал им с помощью чаевых заботу этого человека. Иногда его остроносые ботинки тонули в грязи, иногда покрывались серой пылью: кроты рыли освященную землю. Фронтенак живой снимал шляпу перед Фронтенаками, воротившимися во прах. Он стоял там, не в состоянии ни сказать, ни сделать что бы то ни было — похожий в этом на большинство своих современников, от самых

знаменитых до самых безвестных, замурованных в своем материализме, в своем детерминизме, узник мира, куда более ограниченного, чем мир Аристотеля. И тем не менее он стоял там, держа свою шляпу-котелок в левой руке, а правой, чтобы казаться невозмутимым перед лицом смерти, срезая бутоны старого шиповника.

А днем пятичасовой экспресс увозил его в Бордо. Купив пирожные и конфеты, он звонил в дверь своей невестки. В коридоре слышался топот. Дети кричали: «Это дядя Ксавье!» Маленькие ручонки сражались за право отодвинуть задвижку на двери. Дети путались у него в ногах, вырывали из рук пакеты.

— Я прошу у вас прощения, Ксавье, — возобновляла разговор Бланш Фронтенак, приходя в себя. — Извините меня, я не всегда справляюсь со своими нервами... Вам не нужно напоминать мне, какой у моих детей дядя...

Как обычно, он, казалось, не слышал ее или, скорее, не придавал никакого значения ее словам. Он ходил взад-вперед по комнате, взявшись руками за отвороты своего пиджака, и только шептал, округляя свои беспокойные глаза, что «когда не делаешь всего, то не делаешь ничего...» У Бланш снова появилась уверенность, что в

разговоре она задела нечто, спрятанное в самой глубине его души. Она попыталась успокоить его, повторяя, что он вовсе не обязан жить в Бордо, если ему больше нравится Ангулем, и не обязан торговать клепочным лесом, если ему приятнее заниматься судопроизводством. Она добавила:

— Я ведь знаю, что ваша маленькая контора отнимает у вас не так уж и много времени...

Он снова кинул на нее тоскливый взгляд, словно опасаясь, что она проникнет в его тайну; она же все пыталась убедить его, но он только делал вид, что внимательно ее слушает. Она была бы так счастлива, если бы он доверился ей, но постоянно наталкивалась на стену. Даже о прошлом он никогда не говорил со своей невесткой, особенно о Мишеле. У него были свои воспоминания, и они принадлежали только ему одному. Эта мать, хранительница последних Фронтенаков, которую он и почитал в этом качестве, оставалась для него мадемуазель Арно-Мике, особой весьма достойной, но пришедшей извне. Она замолчала, разочарованная, чувствуя вновь поднимающееся раздражение. Не собирается он идти спать? Он сел, опершись локтями о свои худые колени, и принялся ворошить кочергой угли, не обращая на нее никакого внимания, словно был в комнате

один.

— Кстати, — внезапно произнес он, — Жанетта требует отрез ткани: тете Фелисии нужно платье для холодной погоды.

— А! — протянула Бланш. — Тетя Фелисия! — И подталкиваемая неведомо каким бесом, добавила: — О ней нам нужно поговорить серьезно.

Ну вот, наконец-то она привлекла его внимание! Круглые глаза смотрели прямо в ее глаза. Какую волну всколыхнет эта обидчивая женщина, всегда готовая к нападению?

— Согласитесь, нет никакого смысла оплачивать трех слуг и садовника, которые обслуживают одну бедную слабоумную женщину. В приюте за ней и ухаживали бы, и следили гораздо лучше...

— Тетю Фелисию в приют?

Ей удалось вывести его из себя. Красные прожилки у него на лице стали фиолетовыми.

— Пока я жив, — закричал он пронзительным голосом, — тетя Фелисия не покинет наш семейный очаг! Воля моего отца никогда не будет нарушена. Он никогда не расставался со своей сестрой...

— Но послушайте! Он уезжал из Преньяка по делам в понедельник и возвращался только в субботу вечером. А ваша бедная матушка, совсем

одна, должна была терпеть тетю Фелисию.

— Она делала это с радостью... Вы не знаете обычаев моей семьи... у нее даже и вопроса не возникало... Это была сестра ее мужа...

— Это вы так думаете... но мне-то она признавалась, бедная женщина; она рассказывала мне про эти годы одиночества наедине с душевнобольной...

Ксавье, разъяренный, закричал:

— Я никогда не поверю, что она жаловалась, а главное, что она жаловалась вам!

— Это потому, что моя свекровь приняла меня, она любила меня и не считала чужой.

— Давайте не будем трогать моих родителей! — сухо отрезал он. — В доме Фронтенаков никогда не считали деньги, когда речь шла о выполнении семейного долга. Если вы находите чрезмерным нести половину расходов по содержанию дома в Преньяке, я согласен взять все на себя. Кстати, вы забываете, что тетя Фелисия имела право на часть наследства моего деда, которую мои родители во время разделов никогда не принимали во внимание. Моему отцу даже в голову не приходило беспокоиться о законе...

Бланш, задетая за живое, не стала больше сдерживаться и сказала то, о чем думала с самого

начала спора:

— Хотя я и не Фронтенак, я считаю, что мои дети должны участвовать в содержании своей двоюродной бабушки и даже обеспечивать ей до смешного дорогостоящий уровень жизни, которым она не в состоянии пользоваться. Я не возражаю, раз такова ваша фанаберия. Но вот чего я никогда не допущу, так это того, — добавила она, повышая голос, — чтобы они стали жертвами этой вашей фанаберии, того, чтобы из-за вас они оказались несчастными...

Для большего эффекта она сделала паузу; он все еще не понимал, к чему она клонит.

— А вы не боитесь, что у людей появятся какие-нибудь свои мысли об этой больной, не боитесь, что ее могут принять за сумасшедшую?

— Ну что вы! Ведь всем же известно, что бедной женщине повредили череп щипцами.

— Это всем было известно в Преньяке между 1840-м и 1860-м годом. Но не думаете же вы, что теперешние поколения жили в те времена... Нет, мой дорогой, наберитесь храбрости и подойдите к делу со всей ответственностью. Вы настаиваете на том, чтобы тетя Фелисия жила в имении своих предков, где, кстати, она не покидает кухни, чтобы ее обслуживали три человека, за которыми

никто не следит и которые, может быть, заставляют ее страдать... Но за все это заплатят дети вашего брата, когда наступит пора жениться и выходить замуж, а перед ними захлопнутся все двери...

Она добилась победы и даже испугалась ее. Ксавье Фронтенак, казалось, был сражен наповал. Конечно, беспокойство Бланш не было наигранным. Она давно начала размышлять об опасности, которую может представлять тетя Фелисия для детей. Однако опасность маячила где-то в будущем, она преувеличила... Ксавье с его неизменной чистосердечностью капитулировал.

— Об этом я никогда не думал, — вздохнул он. — Бедная моя Бланш, я забываю обо всем, когда речь заходит о детях.

Он ходил туда-сюда по комнате, приволакивая ноги. Злость у Бланш мгновенно пропала, и она уже упрекала себя за одержанную победу. Она сказала, что все еще можно исправить. В Бордо никто не знает о существовании тети Фелисии, да и жить она будет не вечно, а воспоминание о ней быстро сотрется. Но Ксавье был по-прежнему мрачен, и она добавила:

— К тому же многие считают, что она впала в детство: это самое распространенное мнение.

Я сомневаюсь, чтобы ее когда-нибудь принимали за настоящую сумасшедшую, но такое может случиться... Я говорю лишь о том, что надо предотвратить потенциальную опасность... Не сокрушайтесь так, мой бедный друг. Вы же знаете, меня порой заносит, и я начинаю все преувеличивать... Такой уж у меня характер.

Она слышала короткое дыхание Ксавье. «Его отец и мать, — подумалось ей, — умерли от болезни сердца. Я могла бы убить его». Он снова присел к камину и застыл, опустив плечи. Она собралась с мыслями, закрыла глаза: опущенные темные веки смягчили горестное выражение ее лица. Ксавье не сомневался, что сидящая рядом с ним женщина ругает, казнит себя за то, что не умеет держать себя в руках. Тишину нарушило неразборчивое бормотание кого-то из детей. Ксавье сказал, что пора спать, что он подумает над ее словами. Она стала уверять его, что у них еще достаточно времени, чтобы прийти к какому-нибудь решению.

— Нет, мы должны действовать быстро, ведь речь идет о детях.

— Вы слишком изводите себя заботами, — с горячностью заметила она. — Несмотря на все мои упреки, в мире нет дяди, которого можно

было бы поставить рядом с вами...

Он сделал жест, возможно, означавший: «Вы же не знаете...» Да, он в чем-то упрекал себя, но у нее не было ни малейшего представления, что это могло быть.

Несколькими минутами позже, опустившись на колени для вечерней молитвы, она тщетно пыталась сосредоточиться на привычном общении с Богом. Во время следующего визита Ксавье она попытается узнать чуть побольше; это будет трудно, потому что он не очень-то раскрывается, и перед ней еще меньше, чем перед кем-либо другим. Невозможно настроиться на молитву, хотя уже давно пора бы спать, ведь ей завтра вставать в шесть часов, чтобы заставить поработать Жозе, младшего, во всем и всегда последнего в классе, так же, как Жан-Луи был во всем первым... Он не менее умный и восприимчивый, чем двое других, этот Жозе, но обладает удивительным свойством отключаться, не слышать — один из тех детей, до которых слова не доходят, у которых просто необыкновенная способность витать в облаках. Когда взрослые смотрят на таких, они видят только лишенную энергии телесную оболочку над разорванными учебниками и перепачканными тетрадями. А их пылкий дух витает в это время

где-то очень далеко, в высоких травах Троицына дня, на берегу ручья, в поисках раков. Бланш знала, что три четверти часа она потратит на то, чтобы привести в чувство этого сонного мальчишку, лишенного восприятия, мысли и даже жизни, как оставленная бабочкой куколка.

Проводив детей, сядет ли она завтракать? Да, она позавтракает: голодать не имеет смысла... После того, как она себя вела сегодня по отношению к своему деверю, разве осмелится она причащаться? Нужно будет зайти в Сосьете-Женераль. У нее там встреча с архитектором по поводу здания на улице Сен-Катрин. Надо выкроить время, чтобы сходить к своим беднякам. В магазине у Потена организовать посылку бакалейных товаров семье Ропенти. «Я люблю заниматься благотворительностью...» Вечером, после ужина, уложив детей, она сходит к матери. Сестра с мужем тоже будут там. Может быть, тетя Адила или аббат Мелон, первый викарий... Женщины, которых любят... Ей не нужно было выбирать... Со всеми ее детьми на ней бы еще женились ради ее состояния... Нет, она знала, что еще может нравиться... Не думать об этом... А может быть, она уже начала думать? Главное, не надо никаких сомнений и сожалений. Она не может лишить своих детей

малейшей части самой себя; здесь нет никакой ее заслуги, так уж она устроена... Эта убежденность, что им пришлось бы заплатить за малейшее зло, которое она могла бы причинить... Она понимала, что эта идея нелепа. Навеки прикована к детям. Она страдала от этого. «Конченая женщина... я конченая женщина...» Она приложила руки к глазам, провела ими по щекам. «Надо, пожалуй, зайти к дантисту...»

Послышался жалобный голос: опять Ив! Она на цыпочках вошла в его комнату. Он спал беспокойным сном, сбросив с себя одеяла. С кровати свисала худая загорелая нога. Она накрыла его одеялом, подоткнула его, когда сын повернулся к стене, бормоча во сне какие-то невнятные жалобы. Дотронулась до его лба, до шеи, проверяя, нет ли у него температуры.

III

Каждые две недели дядя Ксавье, как всегда, появлялся у них, а его невестка не продвинулась ни на шаг в раскрытии его секрета. Он возвращался к детям, как выходной в первый четверг месяца, как еженедельное причастие, как контрольная работа и объявление отметок по пятницам; он был созвездием на детском небе, был столь надежно отлаженным механизмом, что, казалось, в нем нельзя было даже предположить что-либо необычное. Бланш готова была подумать, что ей просто что-то пригрезилось, если бы молчание дяди, его сосредоточенный вид, хождения взад-вперед, его обращенный куда-то внутрь себя взгляд, если бы его круглое лицо, хмурое от владевшей им навязчивой идеи, не напомнили ей те времена, когда она сама переживала внутренний кризис. Да, эта христианка различала сейчас у этого равнодушного к вере человека признаки недуга, от которого ее избавил отец Ноле. Она разбиралась в этих вещах, и ей хотелось бы его успокоить. Однако ей не за что было зацепиться. Хорошо хоть, на нее снизошла казавшаяся ей незаслуженной благодать, помогавшая ей не

раздражаться и реже искать с ним ссор. Замечал ли он эти усилия Бланш? Она, еще недавно столь ревниво относящаяся к собственному авторитету у детей, стала советоваться с ним во всем, что их касалось. Не возражает ли он, если она купит верховую лошадь Жану-Луи, который в школе считается лучшим наездником? Нужно ли заставлять Ива брать уроки верховой езды при его боязни лошадей? Не определить ли Жозе в какой-нибудь пансион?

Уже не нужно было разводить огонь в камине, зажигать лампу. Темным оставался только коридор, по которому за несколько минут до ужина прогуливалась, читая свою молитву и перебирая четки, Бланш, а за ней — Ив, державшийся двумя пальцами за ее платье и весь погруженный в от всех скрываемые мечты о славе. Кричали стрижи. Не было слышно друг друга из-за конки, грохотавшей по Эльзасской улице. Доносившиеся из порта гудки делали его более близким. Бланш говорила, что с наступлением жары дети глупеют. Они изобретали какие-то нелепые игры, например, задерживались в столовой после десерта, или надевали себе на головы столовые салфетки, или прятались в каком-нибудь закутке и терлись друг о друга носами, называя это игрой в «общину».

В одну из июньских суббот, когда Бланш уже и думать перестала о тайне Ксавье, она вдруг открылась ей, причем путем совершенно неожиданным. Уложив детей, она спустилась, как обычно, к матери. Пройдя через пахнущую клубникой столовую с не убранным еще столом, она толкнула дверь маленькой гостиной. Госпожа Арно-Мике заполняла собой все кожаное кресло. Она притянула к себе дочь, поцеловала ее по своему обыкновению почти что алчно. На балконе Бланш заметила своего шурина, Альфреда Коссада, и свою сестру, а также внушительную фигуру тети Адилы, невестки госпожи Арно-Мике. Они смеялись, громко разговаривали, и соседи могли бы различить каждое их слово, если бы вокруг не стоял адский шум. На улице группа парней подхватывала припев:

И сказал солдату мальчик:
«Не стреляй-ка, часовой! (два раза)
Ведь из Франции та птичка
Прилетела к нам с тобой».

Тетя Адила заметила ее.
— Это Бланш! Привет, моя миленькая.
Коссад закричал, перекрывая шум трамвая:
— А я ждал вас... у меня такая для вас новость...

Держитесь крепче! Угадайте.

— Перестань, Альфред, — вмешалась его жена, — она не сможет угадать.

— Так вот, моя дорогая, вчера я защищал в суде в Ангулеме и там узнал, что господин Ксавье Фронтенак на виду и на слуху у всего города содержит некую дамочку... Каково? Что вы думаете об этом?

Жена перебила его, а то еще испугает Бланш, она подумает невесть что...

— О! Что касается этого, то нет, успокойтесь: племянников он не разоряет, похоже, что бедняжка не каждый день досыта ест...

Бланш сухо прервала его: на этот счет она была спокойна. К тому же частная жизнь Ксавье Фронтенака никого здесь не касается.

— Я же тебе говорила, она уже начинает заводиться.

— Она сама любит ругать его, но другим не позволяет его трогать.

Бланш стала возражать, сказала, что она вовсе не заводится. Поскольку, на его несчастье, Ксавье неверующий, она не видит, что могло бы его удержать. Голоса теперь звучали не так громко. Альфред Коссад, желая успокоить свою свояченицу, рассказал, что Ксавье Фронтенак стал в

Ангулеме притчей во языцех, что его жмотство по отношению к своей подруге вызывает насмешки. Так что Бланш может спать спокойно. Он даже не позволил несчастной бросить свое ремесло белошвейки-надомницы. Обставил ее жилье кое-какой мебелью, платит за квартиру, и это все. Из-за этого над ним открыто смеются... Альфред, озадаченный, прервал свой рассказ: Бланш, не боявшаяся неожиданных развязок, сложив свое рукоделие, встала. Она поцеловала госпожу Арно-Мике и, не говоря ни слова, покинула своих озадаченных родственников. Дух Фронтенаков уже успел овладеть всем ее существом. Она была потрясена случившимся и, дрожа, как пифия, поднялась на свой этаж и долго не могла трясущейся рукой всунуть ключ в замочную скважину.

Поскольку она вернулась к себе на два часа раньше обычного, было еще светло, и все три сына находились у нее в комнате, где они, сидя в ночных рубашках на корточках у подоконников, занимались тем, что плевали на камень и потом терли о него косточкой абрикоса: нужно было протереть косточку с обеих сторон до такой степени, чтобы можно было проделать в ней дырочки. После этого иголкой извлекалось оттуда ядро. Таким способом у самых терпеливых

получался свисток, который, впрочем, не свистел и который, рано или поздно, они проглатывали. Мальчики, удивленные, что их почти не ругали, убежали, как кролики. Бланш Фронтенак думала о Ксавье: хотя она и старалась не поддаваться своим чувствам, он казался ей теперь более человечным, более доступным. Она увидит его завтра вечером: это было как раз то воскресенье, когда он должен был заехать к ним. Она представила себе, как он в этот час сидит один в большом и мертвом преньякском доме...

А Ксавье Фронтенак в тот же самый час сначала присел ненадолго под навесом, но поскольку перед этим он перегрелся на виноградниках, то почти тут же встал, опасаясь простуды. Он походил немного по вестибюлю, потом решил подняться наверх. Этих июньских вечеров, «вечеров Мишеля», он боялся больше, чем зимних дождливых ночей, когда горящий в камине огонь вызывал у него желание взять в руки книгу. Когда-то Ксавье смеялся над Мишелем из-за его мании цитировать при каждом удобном случае стихи Гюго. Сам Ксавье терпеть не мог стихов. Однако сейчас кое-какие строки, сохранившие интонацию дорогого голоса, всплывали у него в памяти. Нужно бы отыскать их, чтобы вновь

услышать глухой, монотонный голос брата. И вот в этот вечер, стоя у распахнутого над невидимой рекой окна, Ксавье читал, меняя тон, словно отыскивал нужную ноту, нужный аккорд: «*Природа, ясная челом, как вы ее забыли!*» С лугов все неслись пронзительные звуки: кваканье лягушек, лай собак, чей-то смех. И ангулемский стряпчий, стоя у окна, повторял, словно кто-то подсказывал ему слова: «*Едва далекая телега проследует в тени, послушай... Заснуло все, и древо у дороги... Стряхнуло пыль, им собранную днем...*»

Он повернулся спиной к окну, зажег дешевенькую сигару и стал по своему обыкновению медленно ходить по комнате, спотыкаясь, так как штанины постоянно попадали в задники домашних туфель. Мучаясь обычными угрызениями совести, он повторял себе, что предает Мишеля в лице его детей. Он встретил эту уже тогда слегка увядшую девушку, когда дописывал в Бордо свою докторскую диссертацию. Она была немного моложе его, и его потянуло к ней, он сам даже не понимал почему. Чтобы понять это, нужно было бы разобраться в природе его застенчивости, фобий, несостоятельности, тревожных навязчивых мыслей. Добрая женщина, по-матерински заботливая, не смеявшаяся над

ним, — в этом, возможно, был секрет ее привлекательности. Ксавье, даже при жизни Мишеля, переживал по поводу этой не совсем нормальной ситуации. Фронтенакам традиционно была свойственна определенная строгость нравов, но не религиозная, а республиканско-крестьянская. Ни дед, ни отец Ксавье не терпели даже намека на скабрезность, и официально не оформленная связь дяди Пелуера, старого холостяка и брата госпожи Фронтенак, от которого семья получила в наследство ландское[3] имение, постоянно скандализировала родственников. Рассказывали, что он принимал у себя в Буриде, в том самом доме, где умерли его родители, эту девицу, и что она имела наглость показываться в одиннадцать часов дня на пороге, в розовом пеньюаре, в надетых на босу ногу домашних туфлях и с болтающейся за спиной косой. Дядя Пелуер умер в Бордо у этой девицы, как раз когда специально приехал туда, чтобы составить завещание в ее пользу. Ксавье было очень неприятно думать, что он идет по его стопам и, вовсе того не желая, следует при-

[3] Примечания: 3

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100-150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7-8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

меру старого развратника. Ах! Лишь бы семья не узнала, хоть бы этот позор не обнаружился! Испытываемый им страх подсказал ему купить нотариальную контору недалеко от Бордо: он полагал, что это спасет его от сплетен в Ангулеме.

После кончины Мишеля семья не позволила ему погрузиться в свое горе. Его родители, которые тогда еще были живы, вместе с Бланш извлекли его из овладевшего им отупения и сообщили ему, как нечто «само собой разумеющееся», решение семьи: он должен продать контору, переехать из Ангулема в Бордо и занять место Мишеля в фирме, занимающейся поставками дуба для клепки. Ксавье тщетно пытался убедить их, что он ничего не понимает в этом деле: его заверяли, что Артур Дюссоль, их компаньон, ему поможет. Он тем не менее яростно отбивался: отказаться от Жозефы? Это было выше его сил. Поселить ее в Бордо? Не прошло бы и недели, как незаконная связь стала бы достоянием гласности. Он встретил бы на улице Бланш, детей, идя под руку с этой женщиной... Он бледнел от одной только мысли об этом. Теперь, когда он стал опекуном своих племянников, было важно, как никогда, скрывать, маскировать этот позор. В конце концов, интересы детей вроде бы отнюдь

не страдали оттого, что дела фирмы вел Дюссоль: ведь большая часть акций по-прежнему оставалась у Фронтенаков. Для Ксавье важно было только одно: чтобы никакие детали его частной жизни не вышли наружу. Он выстоял, впервые в жизни не склонившись перед волей отца, над которым смерть уже занесла свою руку.

Уладив наконец дела, Ксавье, однако, не обрел покоя. Он не мог смиренно предаваться своему горю; угрызения совести мучили его тогда, продолжали мучить его и сейчас, в этот самый вечер, заставляя ходить взад-вперед по их детской комнате, между кроватью, где спал он сам, и кроватью, где воображение рисовало ему спящего Мишеля. Имение должно достаться детям Мишеля, и взять из него хотя бы один франк, в его представлении значило бы обокрасть Фронтенаков. А между тем он обещал Жозефе в течение десяти лет первого января класть на ее имя десять тысяч франков, после чего она, по их договоренности, не имела права ждать от Ксавье чего бы то ни было еще, не считая — пока он будет жив — платы за квартиру и трехсот франков ежемесячно. Ограничивая себя во всем (его скопидомство смешило весь Ангулем), Ксавье накапливал за год двадцать пять тысяч, но из

этой суммы только пятнадцать тысяч шло его племянникам. Он постоянно повторял себе, что обкрадывает их на десять тысяч, не говоря уже о том, что он тратил на Жозефу. Да, конечно, он уступил им свою часть наследства, так что мог теперь распоряжаться своими доходами, как ему вздумается. Однако он знал некий смутный тайный закон, закон Фронтенаков, единственный, который имел над ним власть. Старый холостяк, ставший хранителем имения, он управлял им ради вот этих святых для него существ, родившихся от Мишеля и разделивших между собой черты брата: у Жана-Луи от него темные глаза, у Даниэль — такая же, как у него, черная родинка у левого уха, а у Ива — нависающее веко.

Иногда он усыплял свои угрызения совести и больше не думал о них. Но его никогда не покидало стремление спрятаться. Ему хотелось умереть раньше, чем семья заподозрит правду о его личной жизни. Он и не подозревал, что в тот же вечер, буквально в тот же час, Бланш лежала с открытыми глазами в большой украшенной колоннами кровати, на которой скончался его брат, лежала в душной темноте бордоской ночи и думала о нем, принимая на себя весьма странную обязанность: даже если дети потеряют на этом

целое состояние, она подтолкнет своего деверя к браку. Не мешать Ксавье в его намерениях узаконить свои отношения было бы недостаточно; следовало всеми способами подтолкнуть его к этому. Да, вот это героическая задача! А кстати... Завтра же она постарается навести разговор на эту щекотливую тему, она предпримет атаку на него.

Он не дал ей такой возможности. За ужином Бланш воспользовалась каким-то замечанием Жана-Луи и заявила, что дядя Ксавье еще может завести семью, иметь детей: «Надеюсь, он еще не отказался от этого...» Он увидел в ее реплике лишь остроумную шутку, поддержал ее игру и, вновь обретя на миг былой задор, к превеликой радости детворы описал свою воображаемую невесту.

Когда дети легли спать, а Бланш с деверем стояли у раскрытого окна, облокотившись на подоконник, она произнесла, с большим трудом преодолевая собственное смущение:

— Я говорила серьезно, Ксавье, и хочу, чтобы вы знали: я была бы искренне рада узнать, что вы решились на брак, когда бы это ни случилось...

Он ответил сухо, обрывая разговор, что никогда не женится. Впрочем, это замечание невестки не насторожило его, так как мысль о браке с

Жозефой в его голове даже не возникала. Дать фамилию Фронтенак женщине, почти ничего собой не представляющей, работающей на кого-то, ввести ее в дом своих родителей, а главное, представить ее жене Мишеля, детям Мишеля — такое святотатство просто немыслимо. Поэтому у него не возникло ни малейшего подозрения, что Бланш могла проникнуть в его секрет. Он отошел от окна раздраженный, но нисколько не обеспокоенный и, извинившись, удалился к себе в комнату.

IV

Неспешные годы детства текли, казалось, совершенно не оставляя места никаким случайностям, никаким неожиданным происшествиям. Каждый час был до краев наполнен трудом, учебой, полдниками, возвращением домой в омнибусе, стремительным бегом по лестнице, запахами ужина, лампой, «Таинственным островом», сном. Даже болезнь (ложный круп у Ива, легкая лихорадка у Жозе, скарлатина у Даниэль) находила свое место, включалась во взаимодействие со всем остальным, несла в себе больше радостей, чем страданий, клала начало, служила ориентиром для воспоминаний: «в тот год, когда у тебя была лихорадка...» Сменявшие друг друга каникулы начинались ушедшими глубоко в землю колоннами сосен в Буриде, в очищенном теперь доме дяди Пелуера. И те же кузнечики встречали их своей песней. А может быть, другие? С виноградников из Респида прибывали корзины со сливами и персиками. Ничего не изменилось, только удлинились брюки у Жана-Луи и у Жозе. Бланш Фронтенак, еще недавно такая худая, полнела, беспокоилась о собственном здоровье,

подозревала у себя рак и, измученная этой тревогой, размышляла, какая судьба ждет ее детей, когда ее не станет. Теперь уже не Ив цеплялся за нее, а она обнимала его, а он иногда сопротивлялся. Ей постоянно нужно было принимать лечебные настои до и после еды, ни на секунду не прерывая воспитания Даниэль и Мари. У малышек уже окончательно сформировались сильные ноги и широкие, низкие бедра. Две вполне созревшие миленькие девчушки, которые заглушали зов естества, кокетничая с сыновьями прачек и горничных.

В этом году пасхальные праздники начались так рано, что дети Фронтенак отправились в Буриде уже в конце марта. Весна витала в воздухе, но оставалась невидимой. Одетые в сухие прошлогодние листья дубы казались погибшими. Кукушка уже звала в луга. Жан-Луи с «двадцать четвертым калибром» на плече воображал, что охотится на белок, хотя на самом деле он просто выслеживал весну. Весна присутствовала в зыбком свете зимнего дня, как человек, которого чувствуешь где-то совсем близко, но не видишь. Мальчику казалось, что он уже дышит ее дыханием, и вдруг все исчезало: оставался только холод. Предвечерний свет мимолетным движением

ласкал стволы, отчего сосновая кора отсвечивала, словно ракушки, а клейкие раны деревьев ненадолго притягивали к себе солнце. Потом внезапно все гасло: западный ветер пригонял тяжелые, задевающие верхушки сосен тучи и извлекал из их темной толпы протяжные стоны.

Приближаясь к лугам, орошаемым Юром, Жан-Луи наконец увидел в одном месте весну: она вытянулась вдоль ручья, переливаясь клейкими, только что распустившимися почками ольхи. Подросток склонился над ручьем, чтобы увидеть длинные живые волосы мха. Волосы... а лицо, должно быть, давным-давно прикрыл морщинистым песком поток текущей над ним пресной воды. Опять показалось солнце. Жан-Луи прислонился к ольхе и извлек из кармана школьное издание «Рассуждений о методе» Декарта[4] и на десять минут перестал видеть весну.

Его отвлек от чтения вид разрушенного препятствия, которое по его просьбе соорудили в августе для того, чтобы он мог тренировать свою кобылу Тампет. Нужно попросить Бюрта отремонтировать. Завтра утром он бы покатался... Он съездит в Леожа, увидит Мадлен Казавьей. Ветер изменил

[4] Примечания: 4

Декарт Рене (1596-1650) — французский философ, математик, физик, физиолог. Автор многих открытий в математике и естествознании.

направление на восточное и принес запах деревни: скипидара, свежевыпеченного хлеба, дыма очагов, на которых готовилась скромная пища. Запах деревни был запахом хорошей погоды, и он наполнил сердце юноши радостью. На склоне, ограничивавшем поле с запада, белели подснежники. Жан-Луи поднялся на него, прошел вдоль недавно распаханной равнины и опять спустился к дубраве, которую пересекал Юр, прежде чем направить свои воды к мельнице; внезапно он остановился и с трудом удержался от смеха: на сосновом пне сидел какой-то странный маленький монашек в капюшоне, он держал в правой руке школьную тетрадь и что-то монотонно бормотал. Это был Ив, который, надвинув на голову капюшон, сидел, выпрямившись, с таинственным видом, уверенный, что поблизости никого нет и что он пребывает в обществе ангелов. У Жана-Луи пропало желание смеяться, потому что всегда тягостно наблюдать за тем, кто об этом и не подозревает. Ему стало страшно, словно он вдруг наткнулся на какую-то запретную тайну. Он захотел было уйти, оставив младшего брата наедине с его заклинаниями. Однако всесильная в его возрасте страсть к подшучиванию вновь овладела им и направила его шаги к бедняге,

который из-за опущенного капюшона ничего не слышал. Он спрятался за дубом на расстоянии полета камня от пня, на котором восседал Ив, но смысл его слов, относимых в сторону восточным ветром, Жан-Луи не мог понять. В два-три прыжка он подскочил к своей жертве и, прежде чем малыш успел закричать, выхватил у него тетрадь и помчался со всех ног в сторону парка.

Мы никогда не отдаем себе отчета в том, какую боль причиняем другим. Жан-Луи пришел бы в ужас, если бы увидел окаменелое выражение лица своего маленького брата, застывшего посреди поля. От отчаяния тот бросился на землю, зарылся лицом в песок, желая заглушить собственные крики. То, что он писал втайне от всех, что принадлежало ему одному и оставалось секретом, разделяемым лишь с Богом, теперь станет предметом их насмешек, их издевательств... Он бросился бежать в сторону мельницы. Думал ли он в этот момент о шлюзе, где недавно утонул ребенок? Он, как это часто с ним бывало, скорее всего, думал лишь о том, чтобы бежать вперед, куда глаза глядят, и никогда не возвращаться домой. Но ему не хватало дыхания. Теперь он бежал совсем медленно из-за набившегося в ботинки песка, и оттого, что набожного ребенка

всегда носят ангелы: «...потому что Всевышний приказал всем своим ангелам охранять тебя, куда бы ты ни пошел. Они понесут тебя на руках из страха, как бы твоя нога не ударилась о камень...» Внезапно ему в голову пришла утешительная мысль: никто, даже Жан-Луи не сможет расшифровать его тайнопись, еще менее разборчивую, чем каракули, которыми он писал в коллеже. А то, что они смогут прочитать, покажется им невразумительным. Так что нечего и волноваться: что смогут они понять в этом языке, если даже он сам не всегда находил к нему ключ? Песчаная дорога подошла к мосту, ко входу на мельницу. Дыхание степей заглушало их запах. Уже наступили сумерки, а старое сердце мельницы все продолжало биться. В окне конюшни показалась голова лошади с всклокоченной гривой. Бедные низенькие домишки с дымящимися трубами, ручей, поля составляли вместе зеленый, наполненный водой и жизнью уголок, который со всех сторон окружали старые сосны. У Ива заработала фантазия: в такой час тайну мельницы нарушать нельзя. И он повернул обратно. Первый удар колокола возвестил о том, что уже пора идти ужинать. Лесную тишину прорезал резкий крик пастуха. Запах грязной шерсти и овечьего пота

волной окатил Ива; он слышал овец, не видя их. Пастух не ответил на его приветствие. На повороте аллеи, где рос большой дуб, его поджидал, держа в руке тетрадь, Жан-Луи. Ив остановился в нерешительности. В стороне Уртина в последний раз подала голос кукушка. Братья стояли неподвижно в нескольких шагах друг от друга. Жан-Луи первым сделал шаг и спросил:

— Ты на меня не сердишься?

Ив никогда не мог устоять ни перед нежным словом, ни даже перед более мягкой, чем обычно, интонацией. Жан-Луи часто был резок с ним; он то и дело бранился, говоря, что «его нужно встряхивать», и особенно выводило Ива из себя, когда он начинал: «Вот когда ты пойдешь в армию...» Однако сейчас он стоял и повторял:

— Ну скажи, ты на меня не сердишься?

Мальчик не смог ответить, а только обнял брата одной рукой за шею. Тот высвободился, но не резко.

— Так вот, — сказал он, — ты знаешь, это очень красиво.

Мальчик поднял голову и спросил, о чем он говорит.

— О том, что ты написал... это даже более чем красиво, — с пылом добавил он.

Они шли рядом по еще светлой аллее, между черными соснами.

— Жан-Луи, ты это нарочно так говоришь, ты смеешься надо мной?

Они не слышали второго удара колокола. На крыльце появилась госпожа Фронтенак и закричала:

— Дети!

— Послушай, Ив, сейчас, после ужина, мы прогуляемся по парку и поговорим. А пока вот, держи свою тетрадь.

За столом Жозе, которому мать все время делала замечания, что он плохо сидит, слишком жадно ест и не моет руки перед едой, рассказывал, как он ездил по окрестностям с Бюртом: поверенный учил мальчика определять границы владений. У Жозе не было иного желания как стать «потомственным крестьянином», но он уже начал терять надежду, что когда-нибудь научится находить межевые знаки. Бюрт считал сосны в каком-нибудь ряду, раздвигал утесники, вдруг начинал рыть землю, и обнаруживался погребенный под ней камень, положенный несколько веков назад предками-пастухами. Эти хранители права, засыпанные почвой, но неизменно оказывающиеся там, где им положено было быть, вероятно, вну-

шали Жозе что-то вроде религиозного чувства, дремлющего в сокровенных глубинах рода. А Ив забывал есть, украдкой бросая взгляды на Жана-Луи, и тоже думал об этих межевых знаках: они оживали у него в сердце, они проникали в таинственный мир, извлекаемый его поэтическим воображением из мрака.

Они попытались выйти незаметно. Однако мать увидела их:

— С ручья тянет сыростью... Вы хотя бы накидки свои не забыли? Главное — не останавливайтесь.

Луна еще не взошла. От студеного ручья и с полей веяло зимой. Братья не сразу нашли аллею, но вскоре их глаза привыкли к темноте. Безукоризненно стройные сосны приближали звезды: они садились на очерченные черными вершинами лужицы неба, плавали в них. Ив шагал с таким ощущением, словно освободился от тяжелой ноши, словно, благодаря старшему брату, он избавился от камня, лежавшего грузом на душе. Семнадцатилетний брат говорил короткими сбивчивыми фразами. Он опасался, как он выразился, лишить Ива непосредственности. Он боялся замутить источник. Но Ив успокоил его: это от него не зависит, вначале это похоже

на поток лавы, которым невозможно управлять. А потом он много работает над этой остывшей лавой, без колебаний убирает прилагательные, разный мелкий строительный мусор, который удается заметить. Уверенность мальчика передалась Жану-Луи. Сколько Иву лет? Только что пошел пятнадцатый год... Переживет ли гений детство?..

— Скажи, Жан-Луи, что тебе больше всего понравилось?

Это был уже вопрос автора: только что родился автор.

— Как здесь выбрать? Мне нравится, когда сосны избавляют тебя от страданий и кровоточат вместо тебя, и когда ты представляешь, как ночью они слабеют и плачут, но эта жалоба исходит не от них: это дыхание моря меж их сдвинутых вершин. О! Особенно то место...

— Вот, — сказал Ив, — луна...

Им и в голову не приходило, что когда-то мартовским вечером, в 1867-м или в 1868 году, Мишель и Ксавье Фронтенак гуляли по этой же аллее. Ксавье тоже сказал: «луна...», и Мишель процитировал строчку стихотворения: «*Она встает, бросая длинный спящий луч...*» Юр струился тогда в такой же тишине. Тридцать лет

спустя в нем текла другая вода, но сверкала она так же, и под этими соснами была другая любовь — та же самая любовь.

— Стоит ли их кому-нибудь показать? — спросил Жан-Луи. — Я подумал об аббате Пакиньоне (это был его преподаватель риторики, к которому он относился с восхищением и глубоким почтением). Хотя я боюсь, что даже он не поймет: он скажет, что это не стихи... Это не похоже ни на что из того, что я когда-либо читал. Тебя смутят, ты захочешь исправиться... В общем, мне надо подумать.

Ив испытывал чувство абсолютного доверия. Мнения Жана-Луи ему было достаточно; он полагался на старшего брата. И вдруг ему стало стыдно оттого, что они говорили только о его стихотворениях.

— А ты, Жан-Луи? Ты ведь не станешь лесоторговцем? Ты ведь не поддашься?

— Я решил поступать в педагогический инсти-

тут: Эколь Нормаль[5]... а потом кандидатский экзамен по философии... да, по философии... Не мама ли там, в аллее?

Госпожа Фронтенак испугалась, как бы Ив не простудился, и принесла ему пальто. Она встретила их и, взяв под руки обоих сыновей, сказала:

— Мне становится тяжело ходить. Ты точно не кашлял? Жан-Луи, ты не слышал — он кашлял?

Шум их шагов разбудил девочек, дремавших в комнате первого этажа. Лампа из бильярдной ослепила их, и они моргали глазами.

Раздеваясь, Ив смотрел на луну над неподвижными сосредоточенными соснами. Сейчас не было соловья, которого в таком же возрасте слушал его отец, склонившись над преньякским садом. Но, может быть, у этой вот совы, сидящей на засохшей ветке, голос более чистый.

---

[5] Примечания: 5

Высшая нормальная (педагогическая) школа *(фр. Ecole normale superieure)* — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции, одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах, чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

V

Ив не удивился тому, что на следующий день старший брат опять стал обращаться с ним в обычной своей немного грубоватой манере, словно у них не было никакого секрета. Странной казалась скорее сцена, произошедшая накануне; так как, хотя братья и были связаны корнями, как два отростка на одном и том же пне, у них не было привычки откровенничать друг с другом: такова самая немая из любовей.

В последний день каникул Жан-Луи заставил Ива сесть на Тампет, и кобыла, как обычно, едва почувствовав, что ее бока сжимают ноги охваченного ужасом седока, пустилась в галоп. Ив, забыв всякий стыд, вцепился в луку седла. Жан-Луи, пробежав наперерез через сосны, встал посреди аллеи с распростертыми руками. Кобыла резко остановилась. Ив, описав параболу, приземлился на песок, а брат заявил: «Так ты недотепой всю жизнь и останешься».

Однако вовсе не это расстраивало мальчика. Хотя он и не признавался себе в этом, ему было неприятно одно: Жан-Луи продолжал свои визиты в Леожа, к приходившимся им родствен-

никами Казавьей. И в семье, и в деревне ни для кого не составляло тайны, что для Жана-Луи все окрестные песчаные дороги вели в Леожа. Когда-то раздел наследства поссорил семьи Леожа и Фронтенаков. После смерти госпожи Казавьей они помирились, но, как говорила Бланш: «теплых чувств между ними никогда не было, не было...» Тем не менее она каждый первый четверг месяца вывозила в свет Мадлену Казавьей, которая заканчивала обучение в монастыре Святого Сердца уже тогда, когда Даниэль и Мари еще посещали младшие классы.

Госпожа Фронтенак испытывала одновременно и беспокойство, и гордость, слушая Бюрта: «Господин Жан-Луи посещает...» Ею владели противоречивые чувства: опасение, что он свяжет себя так рано, но одновременно и радость от того, что в качестве приданого Мадлен должна была получить наследство от матери, но самое главное — она надеялась, что благодаря чистому и страстному чувству этот полный сил юноша избежит греховных искушений.

А вот Ив был разочарован, когда на следующий день после незабываемого вечера по нескольким словам брата понял, что тот опять вернулся из Леожа, словно прочитанное в тетради Ива долж-

но было отвратить его от этого удовольствия, словно отныне все прочее должно было казаться ему пресным... У Ива о любви такого рода были простые и конкретные представления: томные взгляды, сорванные украдкой поцелуи, долгие пожатия рук — в общем, всякие презираемые им ухаживания. Но если Жан-Луи открыл его секрет и проник в этот чудесный мир, зачем ему искать еще чего-то?

Разумеется, девушки уже существовали для юного Ива. На торжественной мессе в Буриде он восхищался хористками с длинными шеями, белизну которых подчеркивали черные ленты; они стояли вокруг фисгармонии, словно на берегу водоема, и раздували горло так сильно, что оно казалось набитым просом и кукурузой. И его сердце билось сильнее, когда мимо проезжала верхом дочь одного богатого землевладельца, юная Дюбюш, с подпрыгивавшими на худеньких плечах темными кудрями. Какой же грузной казалась Мадлен Казавьей рядом с этой сильфидой! В ее волосах, поднятых «под шиньон», развевался огромный бант, который Ив сравнивал с дверным молотком. Она была почти всегда одета в очень тесное под мышками болеро, которое подчеркивало полноватую талию, и в юбку, туго

обтягивающую округленные бедра и расширяющуюся книзу. Когда Мадлен Казавьей скрещивала ноги, было видно, что у нее нет щиколоток. И что нашел Жан-Луи в этой тяжеловесной девушке с невозмутимым лицом, на котором не двигается ни один мускул?

И, надо сказать, Ив, его мать, Бюрт удивились бы, если бы им довелось стать свидетелями их встреч, где не происходило ровным счетом ничего: можно было подумать, что Жан-Луи ездил не к Мадлен, а к Огюсту Казавьей. У них была одна общая страсть — лошади, и, пока старик оставался с ними, беседа не прерывалась. Но в деревне людей никогда не оставляют в покое: то явится арендатор, то придет поставщик, которому непременно нужно поговорить с хозяином; в деревне не закроешь дверь, как в городе. Юная пара с опасением ожидала того момента, когда отец Мадлен оставит их одних. Невозмутимость Мадлен могла ввести в заблуждение кого угодно, но только не Жана-Луи, и вполне возможно, что больше всего он любил в ней как раз то глубинное, невидимое для других волнение, которое овладевало этой внешне безмятежной девушкой, едва они оставались наедине.

Во время последнего визита Жана-Луи, в конце

пасхальных каникул, они гуляли под старыми, еще не зазеленевшими дубами, перед заново оштукатуренным домом, стены которого с течением времени стали, казалось, более толстыми. Жан-Луи начал рассказывать, что он будет делать, когда окончит коллеж. Мадлен слушала его внимательно, словно это будущее интересовало ее не меньше его самого.

— Разумеется, я напишу диссертацию... Ты же не думаешь, что я всю жизнь буду преподавать в школе... Я хочу преподавать в университете.

Она спросила, сколько месяцев он посвятит своей диссертации. Он бодро ответил, что речь идет не о месяцах, а о годах. Назвал ей великих философов: их диссертации уже содержали суть их систем. А она, безразличная к называемым им именам, не осмеливалась задать ему единственный интересующий ее вопрос: женится ли он до окончания своей работы? Совместимы ли подготовка диссертации и брак?

— Если бы мне только удалось получить место преподавателя в Бордоском университете... но это очень трудно...

Когда она перебила его, немного некстати, чтобы сказать, что ее отец постарается добиться для него этого места, он сухо возразил, что «не хочет

ничего просить у этого правительства франкмасонов и евреев». Она прикусила губу: будучи дочерью генерального советника, умеренного республиканца, у которого в голове была мысль лишь о том, что «нужно быть со всеми в хороших отношениях», она привыкла наблюдать с детства, как отец хлопотал буквально за всех: в общине не было ни одного ордена, ни одного места путевого обходчика или почтальона, которое бы не было получено благодаря его вмешательству. Мадлен сердилась на себя за то, что ранила самолюбие Жана-Луи; она запомнит и в случае чего похлопочет втайне от него.

Если не считать подобных речей, иногда подразумевавших, что в будущем их судьбы, возможно, соединятся, юные существа не сделали ни единого жеста, не произнесли ни единого слова, чтобы выразить свою нежность. И тем не менее многие годы спустя, когда Жан-Луи думал о часах, проведенных им в Леожа, он вспоминал о них, как о каком-то неземном счастье. Он вновь видел, как играет солнце в ручье, где водились раки, и на земле под дубами. В троицкие каникулы он шел за Мадлен, их ноги утопали в густой траве, полной золотистых бутонов и маргариток; они шли по лугам, словно плыли по морю. Жуки-дро-

восеки дрожали в свете прекрасного летнего дня, клонившегося к закату... Никакая ласка ничего не добавила бы к этому счастью... Или даже разрушила бы его, исказив образ их любви. Эти дети не отражали ни в словах, ни в поступках то, что заставляло их замирать под дубами Леожа, это безмерное чудо, которому трудно подобрать точное определение.

Странная ревность Ива! Она была вызвана не привязанностью Жана-Луи к Мадлен; он страдал оттого, что другое человеческое существо вырывало его старшего брата из обыденной жизни, что не ему одному была дана власть очаровывать его. Впрочем, эти всплески гордыни не мешали ему одновременно отдавать дань свойственному его возрасту смирению: любовь Жана-Луи поднимала его в представлении Ива до уровня взрослых. Семнадцатилетнему юноше, влюбленному в девушку, нет уже больше дела до того, что происходит у тех, кто еще не стал мужчиной. В глазах Ива стихи, которые он сочинял, были частью таинства детства. Вовсе не считая себя «не по возрасту развитым», он продолжал в своем творчестве свои детские грезы наяву и полагал, что, не будучи ребенком, невозможно проникнуть в эту непонятную игру.

Между тем в день их возвращения из Бордо он понял, что напрасно начал утрачивать доверие к своему старшему брату. Это понимание пришло в, казалось бы, наименее подходящих для этого обстоятельствах: на лангонском вокзале, когда семья Фронтенак, прибыв поездом из База, тщетно пыталась пересесть в экспресс. Бланш суетилась на перроне вместе с детьми, тащившими корзину с кошкой, клетки с птицами, банку с лягушкой-древесницей, коробки с «сувенирами» вроде сосновых шишек, клейких от смолы стружек. Семья уже с ужасом думала, что придется разделиться. И тут к госпоже Фронтенак подошел начальник станции, чтобы сообщить ей, взяв руку под козырек, что он распорядился прицепить еще один вагон второго класса. В результате Фронтенаки оказались все вместе в одном и том же купе. Их трясло, как это обычно бывает, когда едешь в хвостовом вагоне, но они, запыхавшиеся, были счастливы, спрашивали друг друга, как там кошка, лягушка, зонты. А когда поезд тронулся после остановки в Кадиллаке, Жан-Луи спросил Ива, переписал ли он свои стихотворения на чистовик. Разумеется, Ив переписал их в красивую новую тетрадь, но изменить почерк он, конечно, был не в силах.

— Давай тогда их мне; сегодня вечером я их возьму у тебя и займусь ими сам; у меня нет талантов, но зато почерк — очень разборчивый... Зачем? Балда, ты что, не понимаешь? Но только, пожалуйста, не воображай, что все пойдет как по маслу. У нас с тобой есть один незначительный шанс: надо, чтобы тебя поняли профессионалы. Мы пошлем рукопись в «Меркюр де Франс»[6]...

Пока Ив, побледнев, лишь повторял в растерянности: «Да, вот это было бы здорово...», Жан-Луи еще раз попросил его не слишком обольщаться.

— Видишь ли... Они, наверное, получают кучи стихотворений каждый день. Может быть, они даже просто бросают их в мусорные корзины, не читая. Поэтому как минимум надо, чтобы тебя прочитали... а потом, чтобы это попало на глаза человеку, способному понимать. Рассчитывать на это не следует ни в коем случае: один шанс из тысячи; это все равно как если бы мы бросили в море бутылку. Обещай мне, что после того, как мы отправим рукопись, ты думать обо всем этом

---

[6] Примечания: 6

«Mercure de France» — один из старейших французских журналов, выходящий с 1672 г. с перерывами до настоящего времени. Крупным этапом в существовании журнала можно считать 90-е гг. 19 в: утверждая эстетство и символизм, журнал становится в этот период органом буржуазно-аристократической интеллигенции, претендующей на новаторство.

забудешь.

Ив повторял: «Конечно, конечно, никто даже и читать не станет...» Но глаза его блестели надеждой. Он забеспокоился: а где найти такой большой конверт? Сколько нужно наклеить марок? Жан-Луи пожал плечами: пошлем заказным письмом; впрочем, все это он брал на себя.

В Ботиране в купе вошли люди с многочисленными корзинами. Пришлось потесниться. Ив узнал одного из своих товарищей, правда, не очень близкого, сельского жителя, живущего в пансионе и имевшего хорошие оценки по гимнастике. Они обменялись приветствиями. Каждый из них смотрел на мать другого. Ив мысленно спрашивал себя, как бы он относился к этой толстой, потеющей женщине, если бы он был ее сыном.

VI

Если бы Жан-Луи оставался с Ивом во время тяжких недель, предшествовавших распределению премий, он предостерег бы его от глупого ожидания ответа. Однако, как только они вернулись домой, Жан-Луи тут же принял решение, которое восхитило всю семью, но вызвало сильнейшее раздражение у младшего брата. Поскольку он решил сдавать экзамен сразу и по философии, и по точным наукам, он попросил определить его в пансион, чтобы не тратить времени на езду туда-сюда. Ив теперь называл его не иначе как Муцием Сцеволой[7]. Он заявлял, что к величию души относится с превеликим презрением. Предоставленный самому себе, он думал теперь только о своей рукописи. Каждый вечер, когда приходила почта, он просил у матери ключ от почтового ящика и стремительно сбегал вниз по лестнице. При каждом разочаровании он утешал себя ожиданием следующего дня. Он

[7] Примечания: 7

Сцевола (левша) Гай Муций — по античному преданию, римский герой — юноша, пробравшийся в лагерь неприятеля, чтобы убить этрусского царя Порсену. Был схвачен и, демонстрируя презрение к боли и смерти, сам опустил правую руку в огонь.

придумывал всякие объяснения: рукопись еще не успели прочитать, а к тому же рецензент, даже восторженный, должен получить еще одобрение самого господина Валета, директора «Меркюра».

Каштаны отцвели. В отцветающей сирени было полно майских жуков. Фронтенаки получали из Респида столько спаржи, что не знали, что с ней делать. Надежда Ива с каждым днем исчезала, словно вода в усыхающей речке. Он ожесточался. Ненавидел домашних за то, что они не замечали нимб вокруг его чела. Каждый непроизвольно сбивал с него спесь: «Да у тебя еще молоко на губах не обсохло». Иву стало казаться, что он потерял мать: ее слова отдаляли его от нее — так курица бьет клювом выросшего цыпленка, который продолжает бегать за ней. Он думал, что, если попытается что-то ей объяснить, она не поймет. Прочитав его стихи, она обзовет его дураком или сумасшедшим. Ив и не подозревал, что эта бедная женщина знала свое дитя гораздо лучше, чем он мог себе представить. Не зная, чем именно, она чувствовала тем не менее, что он отличается от всех остальных, как щенок, единственный в помете имеющий рыжее пятно. Домашние вовсе не презирали его; это просто он сам стал верить в свое убожество и в свою никчемность. Ему были

отвратительны собственные узкие плечи, слабые руки. А при этом нелепое искушение заставило его залезть на стол в гостиной и закричать: «Я король! Я король!»

«Такой у него сейчас возраст, это пройдет...» — повторяла госпожа Арно-Мике жаловавшейся ей Бланш. Ив не причесывался, старался как можно меньше мыться. Раз «Меркюр» молчит, раз Жан-Луи покинул его и никто никогда не узнает, какой замечательный поэт родился однажды в Бордо, он еще больше увеличит собственное отчаяние, усилив свое уродство: он заключит гений в тощем и грязном теле.

Как-то раз июньским утром, перечитывая в школьном омнибусе последнее написанное им стихотворение, он заметил, что сосед заглядывает в тетрадь через его плечо. Это был один из старшеклассников, философ по имени Бино, соперник Жана-Луи, выглядевший старше, чем он. Бино уже начал бриться, и его еще детские щеки были все в порезах. Ив притворился, что ничего не видит, но отодвинул немного руку и перевернул страницу только тогда, когда удостоверился, что сосед закончил расшифровывать последнюю строчку. Внезапно тот, безо всякого стыда, спросил его: «Где ты взял это?» И, поскольку Ив не

отвечал, спросил еще раз:

— Нет, правда, это чье?

— Угадай.

— Рембо? Хотя что я... ты же наверняка его не знаешь.

— А кто такой Рембо?

— Я расскажу тебе, если ты скажешь, откуда ты списал это стихотворение.

Наконец! Все сильнее удаляющегося от него Жана-Луи сменит другой. И он станет свидетелем его славы и его гения. С пылающими щеками Ив произнес:

— Это я написал.

Тот спросил: «Правда?» Естественно, он не поверил. А когда все-таки поверил, то устыдился, что его заинтересовал текст этого ребенка. Разве может что-то занимательное написать такой мальчик? Бино вяло заметил:

— Ты показал бы мне, что написал...

Но когда Ив открыл портфель, удержал его:

— Нет, в ближайшие дни у меня слишком много работы; если вечером в воскресенье ты окажешься на улице Сен-Жене, позвони в дом 182...

Ив не понял, что тот предложил просто занести тетрадь. Читать кому-либо вслух свои стихотворения... Просто мечта! Жан-Луи никогда не

просил его. А этому незнакомцу он будет читать их, несмотря на свою застенчивость; этот юноша из старшего класса станет почтительно слушать его, а во время чтения проникнется восхищением.

Бино больше никогда не садился в омнибусе рядом с Ивом. Но мальчик не обижался: приближались экзамены, и выпускники, едва выдавалась свободная минута, раскрывали книгу.

Ив пропустил два воскресенья, а потом решился нанести визит. Июль сушил несчастный город. Вода уже не текла вдоль тротуаров. На головах у запряженных в фиакры лошадей были соломенные шляпы с двумя отверстиями для ушей. Первые электрические трамваи тащили прицепы, забитые неряшливо одетыми людьми, из-за расшнурованных корсетов женщины казались горбатыми. Головы велосипедистов, похожие на головы животных, касались руля. Ив обернулся, глядя на проехавший мимо дребезжащий железом автомобиль госпожи Эскаррагель.

Под номером 182 на улице Сен-Жене находился одноэтажный домик — Ив называл такие «хибарками». Когда мальчик звонил, его мысли витали далеко от Бино. Звук колокольчика вернул его к действительности. Было уже поздно спасаться

бегством; он услышал, как хлопнула дверь, как кто-то совещается вполголоса. Наконец появилась женщина в халате; она была желтая и худая, с недоверием в поблескивавших глазах. Казалось, все ее существо перешло в эти густые волосы, которыми, вероятно, она гордилась; только они были живыми, роскошными на этом увядшем теле, скорее всего, пожираемом изнутри какой-нибудь фибромой. Ив спросил, дома ли Жак Бино. Школьная фуражка, которую он держал в руке, должно быть, успокоила женщину. Она провела его в коридор, открыла дверь направо.

Это была гостиная, но превращенная в швейную мастерскую: на столе валялись бумажные выкройки, перед окном стояла раскрытая швейная машинка; наверное, из-за Ива женщина прервала свою работу. На камине красовалась австрийская терракотовая «Саломея», раскрашенная во все цвета радуги. Гипсовый Пьеро, пытающийся сохранить равновесие, стоя на полумесяце, посылал воздушный поцелуй. Ив услышал в соседней комнате возню и чей-то раздраженный голос, скорее всего Бино. Сам того не желая, Ив вторгся в обитель одного из тех тружеников, которых называют «скромными», но которые на самом деле сгорают от гордыни, ко-

торые «спасают лицо» и не позволяют никакому чужаку проникать за кулисы их многотрудной жизни. Ну конечно, Бино предложил ему лишь оставить рукопись и больше ничего... И действительно, именно это юноша сказал ему, когда появился, без пиджака, в расстегнутой рубашке. У него была невероятно длинная шея, усеянная мелкими фурункулами. Ив принес ему стихи? Напрасное беспокойство.

— Экзамены через две недели... у меня ни одной свободной минуты, ты же сам понимаешь...

— Ты мне сказал... я думал...

— Я думал, что ты занесешь мне тетрадь в то же воскресенье. Ну раз уж ты пришел, то давай, оставь.

— Нет, — возразил мальчик, — нет! Я не хочу мешать тебе.

У него теперь было только одно желание: покинуть эту хибару, уйти от этого запаха, от этого ужасного парня. А тот теперь пытался удержать Ива, наверное, из-за своего товарища, Жана-Луи; но мальчик уже был на улице и быстро шел по ней, несмотря на удушливый зной, пьяный от злости и отчаяния. Однако ему исполнилось всего пятнадцать лет, и когда он дошел до Интендантской улицы, то зашел в кондитерскую

Ламанона, где на время утешился мороженым с клубникой. Горе, не соответствующее поводу — этому неудачному визиту, поджидало за дверью, чтобы накинуться на него с новой силой. Каждый человек отличается своей манерой страдать, складывающейся и закрепляющейся в подростковом возрасте. Переживания Ива в тот вечер были мучительны, и он даже и не мечтал, что они когда-либо кончатся. Он не знал, что для него наступил момент наслаждения лучезарными днями, неделями света и радости и что надежда должна осенить его жизнь, столь же обманчиво неизменную, как и небо летних каникул.

VII

А для Ксавье Фронтенака наступил самый спокойный период его жизни. Угрызения совести больше не терзали его: Жозефа наконец получила все свои сто тысяч франков, и больше ничто не мешало Ксавье «откладывать» деньги для племянников. Но он по-прежнему жил в постоянном страхе, как бы семья не узнала о существовании Жозефы. Его опасения даже усиливались по мере того, как маленькие Фронтенаки росли и достигали того возраста, когда его поведение могло шокировать их или, напротив, послужить им дурным примером. Но зато, повзрослев, они скоро сами смогут заниматься своими владениями. Ксавье решил, что он продаст свою контору и переедет в Париж. Он объяснял Жозефе, что столица будет для них более надежным пристанищем. Первые автомобили уже начинали сокращать расстояние, и теперь ему казалось, что Ангулем гораздо ближе к Бордо, чем в недавнем прошлом. В Париже они смогут бывать вместе где угодно, ходить в театр, не боясь, что их узнают.

Ксавье уже заключил соглашение о продаже конторы, и, хотя он должен был уступить ее толь-

ко через два года, он уже получил за нее такой задаток, который намного превосходил то, на что он надеялся. Он был доволен, поэтому вспомнил когда-то данное Жозефе обещание попутешествовать с ней по Швейцарии. Когда он намекнул ей об этом, она проявила так мало радости, что он даже был разочарован. На самом же деле это казалось бедной женщине слишком прекрасным, и она просто не верила своему счастью. Если бы речь шла о поездке в Люшон на неделю, как в 1896 году... но поехать в Париж, отправиться путешествовать по Швейцарии... Она пожимала плечами и продолжала шить. Однако когда она увидела, как Ксавье читает путеводители, железнодорожные справочники, чертит маршруты, это невероятное счастье стало казаться ей более реальным. Она уже больше не могла сомневаться в том, что Ксавье принял решение. Однажды вечером он пришел домой с билетами на весь маршрут. До сих пор она никому не говорила об этом путешествии. А теперь наконец решила написать своей замужней дочери, которая жила в Ниоре: «*Мне впору спрашивать себя, во сне ли я вижу это или наяву, но билеты уже здесь, в зеркальном шкафу. Они выписаны на имя господина и госпожи Ксавье Фронтенак: это семейные би-*

леты Милая моя, хотя это и не соответствует действительности, у меня даже дрогнуло сердце. ***Господин и госпожа Фронтенак!*** *Я спросила его, будет ли он так же записывать и в гостиницах; он ответил, что по-другому просто нельзя. У него от этого испортилось настроение; ты же знаешь, какой он... Он сказал мне, что был в Швейцарии уже три раза и все видел, за исключением гор, потому что все время шел дождь. Но я не посмела ответить ему, что для меня это не имеет значения, поскольку для меня самое большое удовольствие в том, чтобы переезжать из гостиницы в гостиницу в качестве жены Ксавье, а по утрам достаточно будет только позвонить — и завтрак...*»

Господин и госпожа Фронтенак... Написанные на билете, эти слова не произвели на Ксавье никакого впечатления, но он не предусмотрел того, что вопрос возникнет также в гостиницах. Жозефе было бы лучше не указывать ему на эту проблему, которая заранее испортила ему все удовольствие. Он упрекал себя за то, что сам создал себе столько затруднений: усталость, расходы, а тут еще Жозефа, которая будет разыгрывать из себя даму (не говоря уже о том, что местные газеты, возможно, напечатают в рубрике «Среди наших

гостей»: *господин и госпожа Фронтенак*). Ну да ладно, билеты уже куплены или, как говорится, вино откупорено.

А между тем, днем 2 августа, накануне отъезда, в тот самый час, когда в Ангулеме Жозефа заканчивала отделку вечернего платья, призванного ослепить швейцарские отели, в Виши у госпожи Арно-Мике случилось одно из ее обычных головокружений. На этот раз оно оказалось особенно сильным и внезапным; она не смогла удержать руку своей дочери госпожи Коссад и ударилась головой о мостовую. Когда ее принесли в гостиницу, она уже хрипела. Утром следующего дня Бланш Фронтенак в Буриде заканчивала прогулку по парку, собираясь укрыться от жары в помещении: дышалось уже тяжело, цикады, то одна, то другая, заходились от радости. Она увидела Даниэль, бежавшую ей навстречу с телеграммой в руке: «*Матери очень плохо...*»

Под вечер маленький разносчик телеграмм позвонил в дверь Ксавье Фронтенака. Жозефа, почти никогда не приходившая к нему домой, в этот день помогала ему упаковывать чемодан и, не сообщая ему, уже уложила туда три платья. Увидев в руках у Ксавье голубую бумажку, она поняла, что они никогда не уедут.

— Ах! Черт!

Голос Ксавье прозвучал, помимо его воли, почти весело, ведь сквозь строчки телеграммы: «*Меня вызвали Виши матери очень плохо. Прошу Вас приехать первым поездом Буриде присмотреть за детьми...*» — он читал, что ни в одной швейцарской гостинице не будет записано: *«Господин и госпожа Ксавье Фронтенак»,* и он не потратит тысячу пятьсот франков. Он передал телеграмму Жозефе, и той, привыкшей за пятнадцать лет служить искупительной жертвой на алтарях божества по имени Фронтенак, сразу стало ясно, что все потеряно. Она сказала для очистки совести:

— Тебе сообщили слишком поздно, билеты куплены, мы уже находимся в дороге. Пошли телеграмму с границы, что ты сожалеешь... Дети — уже не дети (она много слышала о них от него и хорошо их знала). Жану-Луи уже вот-вот будет восемнадцать, а Жозе...

Ксавье, разъяренный, прервал ее:

— Нет, да что это с тобой? Ты что, с ума сошла? Ты считаешь меня способным не ответить на просьбу моей невестки? Они — прежде всего, я тебе сколько раз повторял? Послушай, милая, сейчас придется отказаться, поедем в другой

раз. Надень свою пелерину, становится уже прохладно...

Она послушным жестом накинула свою каштановую обшитую тесьмой пелерину. Воротник а-ля Медичи забавно обрамлял ее обрюзгшее лицо, на котором лишь гордо выдающийся нос, «плутоватый» нос, мог пробудить воспоминание о ее прошлом. У нее не было подбородка; ее шляпа, сидевшая на уложенной тугой желтой косе, представляла собой прекрасную имитацию клумбы. Сразу было видно, что у нее длинные, до поясницы, волосы. Она ломала все свои гребни. «Ты везде теряешь свои заколки».

Несмотря на свою обычную покорность, бедная женщина, застегивая пелерину, теперь не выдержала и проворчала, что «ей в конце концов все это надоест». Ксавье язвительно попросил ее повторить то, что она сказала, и она повторила неуверенным голосом. Ксавье Фронтенак, скрупулезно, чуть ли не маниакально деликатный со своими родственниками и такой же скрупулезный в делах, с Жозефой мог вести себя откровенно грубо.

— Теперь, когда ты накопила свои денежки, — сказал он, — ты можешь бросить меня... Но ты не такая дура, чтобы потерять все... Тебе придется

продать свою мебель, — зло добавил он, — разве что... не нужно забывать, что счета выписаны на мое имя, как и квартплата тоже...

— Она не моя, мебель?

Он попал в самое больное ее место. Она обожала свою большую кровать, купленную в Бордо у Левейе; дерево на ней было украшено золотыми накладками, большую часть панно занимали факел и колчан. Жозефа долгое время видела в факеле кулек с выходящими из него волосами, а в колчане — другой кулек, содержащий гусиные перья. Эти странные символы не беспокоили ее и не удивляли. Ночная тумбочка, похожая на богатый ковчежец, по словам Жозефы, была слишком красива для своего содержимого. Но больше всего она любила зеркальный шкаф. На фронтоне его были изображены все те же кульки да еще ленты; Жозефа уверяла, что «рисунок настолько тонкий», что на розах можно сосчитать лепестки. Зеркало обрамляли две доходившие до середины колонны с каннелюрами, витыми снизу. Внутри более светлое дерево «подчеркивало» стопки панталончиков, отороченных кружевами «шириной в ладонь», нижних юбок, ночных рубашек с накрахмаленными фестонами и миленьких лифчиков, составлявших предмет особой гордо-

сти Жозефы, «страсть как любившей белье».

— Она не моя, мебель?

Жозефа зарыдала. Он обнял ее:

— Ну, конечно же, твоя, глупышка!

— По сути-то, — продолжала она, сморкаясь, — это глупо, что я плачу, я же никогда не верила, что мы поедем. Я думала, что случится землетрясение.

— Ну вот видишь: а достаточно было старушке Арно-Мике отдать концы.

Он говорил почти игривым тоном, радуясь возможности доехать в деревню и опять увидеть детей брата.

— Бедняжка госпожа Мишель теперь будет совсем одна...

Жозефа всегда с неизменным преклонением думала о Бланш, которую она привыкла ставить очень высоко. Ксавье после паузы ответил:

— Если мать у нее умрет, она станет очень богатой... И ей уже не будет никакого резона брать хоть один сантим из фронтенаковских денег.

Он, потирая руки, обошел вокруг стола.

— Отнеси билеты в агентство. Я напишу им записку, они не будут возражать, это мои клиенты. А деньги, которые они отдадут, оставь себе... Это как раз пойдет на оплату задолженности по

квартире, — добавил он радостно.

VIII

В тот день, когда Бланш уезжала в Виши (ее поезд отправлялся в три часа), семья обедала в глубокой тишине, вернее, в молчании, так что без разговоров стук вилок и посуды казался оглушительным. Аппетит детей шокировал Бланш. И во время ее собственной агонии тарелки будут вот так же ходить из рук в руки. Но разве она не удивилась только что, поймав сама себя на том, что думает, кому достанется особняк на улице Кюрсоль. Грозовые тучи затянули солнце, и пришлось открыть ставни. Ваза с персиками притягивала к себе ос. Залаяла собака, и Даниэль сказала: «Это почтальон». Все головы повернулись к окну, к человеку, который шел от кроличьего садка, неся через плечо раскрытую сумку. Даже в самых дружных семьях нет таких людей, которые не ждали бы писем без ведома других. Госпожа Фронтенак узнала на одном из конвертов почерк своей матери, умиравшей в этот час или, может быть, уже умершей. Вероятно, она написала письмо утром того дня, когда случилось несчастье. Бланш не решалась открыть конверт, наконец решилась и разрыдалась. Дети в растерянности

смотрели на плачущую мать. Она встала, девочки вышли вместе с ней. Никто, за исключением Жана-Луи, не обратил внимания на большой конверт, который слуга положил перед Ивом: *Меркюр де Франс... Меркюр де Франс...* Иву никак не удавалось его открыть. Печатный текст? Всего лишь какой-то печатный текст? Он узнал свою фразу: свою собственную... Его стихотворение... Фамилию исказили: Ив Фронтен. В конверте оказалось и письмо: «*Сударь и дорогой поэт! Редкая красота ваших стихотворений побудила нас опубликовать их все. Мы были бы Вам благодарны, если бы Вы, после исправления корректурных оттисков, отправили их нам со следующей почтой. Мы ставим поэзию настолько высоко, что любая оплата нам кажется недостойной ее. Я Вас прошу принять, сударь и дорогой поэт, выражение нашего восхищения. Поль Морис. P. S. Не беря на себя никаких обязательств, я буду счастлив через несколько месяцев прочитать Ваши новые произведения*».

Упала одна капля, вторая, третья, и наконец пошел дождь. Ив ощутил в груди его свежесть, счастливый, как листва: туча пролила свою влагу. Он передал конверт Жану-Луи, который, взглянув на содержимое, положил его в карман.

Девочки вернулись: мама немного успокоилась и спустится перед самым отъездом. А бабушка писала в своем письме: «*У меня опять начались головокружения, более сильные, чем когда-либо прежде...*» Ив сделал над собой усилие, чтобы приглушить свою радость, которая охватила его, как пожар, и от которой некуда было скрыться. Он попытался мысленно представить себе маршрут матери: три поезда до Бордо, потом лионский экспресс, она сделает пересадку в Ганна... Он не умел править корректуру... Отправить со следующей почтой? Письмо переслали из Бордо... Один день, значит, уже потерян.

Появилась Бланш, ее лицо закрывала густая вуалетка. Кто-то из детей крикнул: «Коляска уже здесь». Из-за мух Бюрт с трудом удерживал лошадь. Дети обычно спорили из-за мест в коляске, чтобы проводить мать на вокзал и вернуться не на откидном сиденье, а на мягких подушках. На этот раз Жан-Луи и Ив уступили это удовольствие Жозе и девочкам. Они помахали им, крича: «Надеемся завтра утром получить телеграмму».

Наконец-то! Они вдвоем остались властителями дома и парка. Сквозь капли дождя сияло солнце. Жара немного спала, и ветер, сотрясая насыщенные влагой ветви, обрушивал с них

короткие ливни. Братья не могли нигде присесть, все скамейки были мокрые. Поэтому они, сблизив головы, читали оттиски, гуляя по парку. Ив говорил, что в напечатанном виде собственные стихи кажутся ему более короткими. Опечаток было мало, и они исправляли их так же наивно, как ошибки в своих школьных тетрадях. Рядом с большим дубом Жан-Луи внезапно спросил:

— А почему ты не показал мне свои последние стихотворения?

— Ты же у меня не спрашивал.

Жан-Луи стал уверять, что накануне экзаменов все равно не получил бы от них никакого удовольствия, на что Ив предложил сходить за ними:

— Подожди меня здесь.

Мальчик стремительно сорвался с места; пьяный от счастья, он бежал к дому с откинутой назад непокрытой головой. Он нарочно задевал головой за высокий дрок и низко свисающую листву, чтобы смочить себе лицо. Ветер от бега казался ему почти холодным. Жан-Луи смотрел, как он возвращается, подпрыгивая. Младший брат, такой неопрятный и так нелепо выглядевший в городе, летел к нему со стремительной грацией ангела.

— Жан-Луи, позволь мне почитать их: мне будет очень приятно прочитать их тебе вслух. Подожди, я сейчас отдышусь.

Они стояли, прижавшись к дубу, и мальчик слушал, как в старом живом стволе, который он обнимал каждый раз, уезжая в город, бьется его собственное недолговечное и переутомленное сердце. Он стал читать — и читал: в какой-то необычной манере, показавшейся Жану-Луи поначалу странной; потом он решил, что только так и надо читать. Не показались ли ему эти новые стихотворения в чем-то уступающими тем, которые были раньше? Он колебался: нужно их перечитать... Какая горечь! Какая ранняя боль! Ив, который только что прыгал, как олененок, читал резким и суровым голосом. И при этом он чувствовал себя очень счастливым, в эту минуту он совершенно не испытывал выраженной в стихах ужасной боли. Осталась только радость оттого, что ее удалось закрепить в казавшихся ему вечными словах.

— Нужно будет послать их в «Меркюр» в октябре, — сказал Жан-Луи. — Не будем слишком спешить.

— А скажи, тебе они нравятся больше, чем прежние?

Жан-Луи заколебался:

— Мне кажется, они идут дальше...

Приближаясь к дому, они увидели Жозе и девочек, вернувшихся с вокзала и сохранивших на лицах соответствующее обстоятельствам выражение лица. Мари сказала, что это было ужасно видеть, как бедная мама плачет, когда поезд тронулся. Ив отвернулся из опасения, как бы на его лице не прочитали радость. Жан-Луи искал ему извинение: в конце концов, бабушка еще не умерла, возможно, страх оказался напрасным: ее уже три раза соборовали... И к тому же дядя Альфред всегда был склонен видеть все в черном свете. Ив не к месту прервал его:

— Он принимает желаемое за действительность.

— О! Ив, как ты можешь...

Дети были шокированы, но Ив уже сорвался с места и полетел, словно обезумевший жеребенок, через канавы, прижимая к сердцу корректурные оттиски и собираясь перечитать их по третьему разу, в настоящем кабаньем логове, которое он называл своим домом, посреди утесника. Он будет грызть там свою кость. Жозе посмотрел ему вслед:

— Ну что за человек! Когда все идет хорошо, он

хмурится, а как только в воздухе запахнет несчастьем, он вдруг начинает чему-то радоваться...

Он свистнул Стопа и с легким, радостным сердцем спустился к Юру, чтобы поставить донные удочки, словно бабушка и не находилась в этот момент при смерти. Чтобы опьянить его брата, нужен был первый луч славы, а Жозе достаточно было просто чувствовать себя семнадцатилетним юношей, у которого только что начались летние каникулы и который знал, где в Юре водятся угри.

IX

Ужин без матери прошел шумнее, чем обычно. Только девочки, воспитанницы монастыря Святого Сердца, хорошо натренированные для подобных случаев, находили, что «время для шуток выбрано совсем неудачно»; однако и они тоже прыскали, когда Ив и Жозе изображали жеманно раскрывающих рот хористок в церкви, вокруг фисгармонии: «Ничто в сем мире необъятном не в силах ублажить меня!» Благоразумный Жан-Луи, постоянно ищущий извинений для себя и своих братьев, думал, что смех у них нервный и что они на самом деле испытывают печаль.

После ужина они отправились в черную ночь встречать прибывавшего с девятичасовым поездом дядю Ксавье. Они вышли с опозданием, но поезд из Буриде всегда задерживался еще сильнее. Вокзал со всех сторон окружали спрессованные штабеля свежераспиленных и еще сочащихся смолой, словно кровью, досок. Дети пробирались сквозь них, стукаясь об углы, плутая в причудливо начерченных улочках этого благоухающего города. Их ноги утопали в раскрошившейся сосновой коре, сейчас невидимой. Но

сколько раз они видели при свете дня эту кору цвета свернувшейся крови! Ив утверждал, что эти доски — раздробленные конечности сосен: после того, как их растерзали, содрав с них, еще живых, кожу, они благоухали, эти священные тела мучеников... Жозе проворчал:

— Нет, какой все-таки балбес! Ну какая здесь связь?

Они увидели светящийся фонарь вокзала. Кричали и смеялись женщины; голоса их звучали пронзительно, как у животных. Мальчики пересекли зал ожидания, потом рельсы. Они услышали в лесной тишине далекий шум маленького поезда, ритмичное покачивание которого было для них таким родным, что зимой, в Бордо, они нередко имитировали его, вспоминая счастливые месяцы каникул. Раздался длинный свисток, с грохотом вырвался из паровоза пар, и величественная игрушка возникла из мрака. В купе второго класса кто-то был... Это мог быть только дядя Ксавье.

Он не ожидал увидеть племянников такими веселыми. Они вырывали друг у друга его чемодан, висли у него на руках, интересовались, какие он привез им конфеты. Он позволял им, как слепой, вести себя сквозь штабеля досок, и каждый свой

визит вдыхал с неизменным удовольствием ночной запах здешних краев. Он знал, что на повороте дороги, которая идет в обход города, дети закричат: «Берегитесь собаки господина Дюпара!..», потом, после того как они минуют последний дом, в темной массе леса начнется разрыв, белое литье, высеченная аллея, на которой шаги детей зазвучат особенно по-домашнему. Там кухонная лампа будет светить, как большая звезда, расположенная вровень с землей. Дядя знал, что для него накроют великолепный стол, но уже успевшие поужинать дети спокойно поесть ему не дадут. На его вопрос о состоянии их бедной бабушки они ответили все сразу, что нужно ждать более определенных известий, что их тетя Коссад всегда все преувеличивает. Проглотив последний кусок, он, несмотря на темноту, пошел прогуляться по парку, следуя ритуалу, отменять который дети не позволяли буквально никому.

— Ну как, дядя Ксавье, хорошо пахнет?

Он смиренно отвечал:

— Пахнет болотом, и я чувствую, как у меня начинается простуда.

— Вы только взгляните на все эти звезды...

— Я предпочитаю смотреть себе под ноги.

Одна из девочек попросила его рассказать «про злого ястреба и доброго голубя». Когда они были маленькими, он веселил их разными прибаутками и всякой чепухой, которых они требовали от него при каждом его визите и которые они слушали всегда с неизменным удовольствием и хохотом.

— В вашем-то возрасте? И не стыдно вам? Вы же уже не дети...

Сколько раз за эти радостные и светлые дни дяде Ксавье приходилось повторять им: «Вы же уже не дети...» Однако чудо как раз в том и состояло, что они, выйдя из детского возраста, вновь с головой окунались в детство: они пользовались какой-то временной льготой, чудесным избавлением от общего правила.

На следующее утро даже сам Жан-Луи попросил:

— Сделай нам несколько корабликов-маяков.

Дядя для вида отказывался, подбирал кусок сосновой коры, несколькими движениями перочинного ножика придавал ей сходство с лодкой, прикреплял к ней крошечную свечку. Поток Юра уносил пламя вниз по течению, и каждый из Фронтенаков вновь оказывался во власти былых эмоций, думая о судьбе этого кусочка сосновой

коры из Буриде: Юр унесет ее до Сирона, вместе с водами Сирона она попадет недалеко от Преньяка в Гаронну... и наконец эту частицу сосны из парка, где выросли маленькие Фронтенаки, получит океан. Никто из них не допускал, что она может застрять в колючем кустарнике или сгнить где-нибудь поблизости еще до того, как поток Юра минует город. Нужно было верить, это был догмат веры, что из самого неприметного ручья в ландах кораблик-маяк приплывет в Атлантический океан «со своим грузом тайны Фронтенаков...», как говорил Ив.

И эти взрослые ребята бежали вдоль ручья, чтобы не дать кораблику-маяку сесть на мель. Нестерпимо жгучее солнце опьяняло цикад, а мухи набрасывались на любую живую плоть. Бюрт принес телеграмму, которую дети открыли с тоскливым чувством: «*Легкое улучшение...*» Какое счастье! Можно было наслаждаться счастьем и смеяться, не испытывая стыда. Однако в один из последующих дней Ксавье прочитал напечатанную на голубой бумаге фразу: «*Бабушке очень плохо...*» — и удрученные дети не знали, что им делать с их веселым настроением. Бабушка Арно-Мике умирала в Виши, в гостиничном номере. А тут парк вобрал в себя весь пыл этих длинных

знойных дней. В краю лесов не видно, как собираются грозы. Они до поры до времени прячутся за соснами; их выдает только их дыхание, и возникают они внезапно, как грабители. Иногда в южной стороне появлялся их медно-красный фронт, но гроза так и не разражалась. Дуновение посвежевшего ветра подсказывало детям, что дождь прошел где-то в стороне.

Даже в те дни, когда новости из Виши были неблагоприятными, тишина и детская сосредоточенность длились недолго. Даниэль и Мари успокаивались на девятидневном молитвенном обете, который они, вместе с Кармелием Бордоским и монастырем ордена Милосердия, соблюдали ради своей бабушки; Жозе заявлял: «Что-то подсказывает мне, что она выкрутится». Однажды дядя Ксавье даже прервал арию Мендельсона, которую они на веранде распевали в три голоса:

Вселенная величия полна!

Так поклонимся ж Господу...

«Не надо хотя бы из-за слуг», — объяснил дядя Ксавье. Ив возражал, говоря, что музыка никому не мешает быть озабоченным и печальным, он дождался, чтобы исчез огонек сигары в по-

сыпанной гравием аллее, и своим странным, ломающимся голосом запел арию из оперы Гуно «Сен-Мар»:

Ночь осиянная и тихая...

Он обращался к ночи, как к человеку, чью свежую горячую кожу он осязал, чье дыхание он слышал рядом с собой.

В глубинах твоих, прелестная ночь...

Жан-Луи и Жозе, сидя на крыльце с запрокинутыми головами, подстерегали падающие звезды. Девочки кричали, что к ним в спальню залетела летучая мышь.

В полночь Ив зажигал свечу, брал свою тетрадь со стихами, карандаш. Уже поселковые петухи отвечали своим собратьям на затерянных хуторах. Ив сидел с босыми ногами, в одной ночной рубашке, облокотившись на подоконник, и смотрел на спящие деревья. Никто, за исключением его ангела, сейчас уже не знает, до какой степени он походил на своего отца, когда тому было столько же лет.

Однажды утром пришла телеграмма: «*Состояние стабильное*», которая была истолкована в благоприятном смысле. Утро было лучезарное, умытое прошедшими вдали грозами. Девочки

принесли дяде Ксавье ветки ольхи, чтобы он сделал им свистки. При этом они требовали, чтобы он не пропускал ни одного элемента привычного ритуала: чтобы отделить кору от дерева, недостаточно было просто постучать по ней ручкой перочинного ножа, а следовало одновременно петь невразумительную детскую песенку: *Сабе, сабе, калумет. Те пуртере ун пан науэт. Те пуртере уне миште тут каут. Сабарен. Сабаро...* Дети хором повторяли эти дурацкие неизменные слова. Дядя Ксавье прервался:

— А вам не стыдно в вашем возрасте заставлять меня валять дурака?

Однако у всех было смутное ощущение, что благодаря какой-то особой милости время остановилось: им удалось соскочить с поезда, который вообще ничто не в силах остановить; став подростками, они все еще пребывали в лужице детства, они там задержались, хотя само детство навсегда ушло от них.

Известия о госпоже Арно-Мике стали более обнадеживающими. Это было неожиданно. Скоро мама должна была вернуться, и при ней уже нельзя будет вести себя так глупо. С весельем у Фронтенаков покончено. Госпожа Арно-Мике была спасена. Все дошли на станцию встречать

маму, приезжавшую девятичасовым поездом. Ночь выдалась лунная, и свет струился между штабелями досок. Им не понадобилось даже брать с собой фонарь.

Вернувшись со станции, дети смотрели, как мать ест. Она изменилась, похудела. Она рассказала, как однажды ночью бабушке стало настолько плохо, что даже приготовили простыню, чтобы ее похоронить (в больших отелях покойников выносят тут же, под покровом ночи). Она заметила, что слушают ее плохо, что между племянниками и дядей возникло своего рода сообщничество, что они обмениваются какими-то одним им понятными шутками, словами с двойным смыслом, что существует какая-то тайна, где ей нет места. Она замолчала, помрачнела. Она уже не обижалась, как раньше, на своего деверя, потому что, постарев, избавилась от прежней требовательности. Однако она страдала от той тайной нежности, с какой дети относились к своему дяде, и переживала, что вся их благодарность достается ему одному.

Возвращение Бланш разрушило очарование. Дети перестали быть детьми. Жан-Луи проводил все свои дни в Леожа, а у Ива опять выступили на лице прыщи, и он вновь приобрел свой прежний

сердитый, недоверчивый вид. Присланный из Парижа журнал «Меркюр де Франс» с его стихотворениями отнюдь не смягчил его. Сначала он не осмеливался показать их ни матери, ни дяде Ксавье, а когда решился, действительность превзошла его опасения. Дядя говорил, что у его стихов нет ни начала, ни конца, и цитировал Буало: «То, что хорошо по мысли, излагается ясно». Мать не могла не испытать чувства гордости, но скрыла его, попросив Ива, чтобы он не оставлял где попало журнал, «который содержит гнусные страницы некоего Реми де Гурмона[8]». Жозе декламировал, паясничая, казавшиеся ему «уморительными» отрывки. Ив, заходясь от злости, гонялся за ним и получал тумаки. В утешение он получил несколько писем от незнакомых людей с выражением восхищения и продолжал получать их и в дальнейшем, не отдавая себе отчета в важности подобных признаний. Аккуратный Жан-Луи с глубоким удовольствием собирал все эти письма.

В первых числах сентября, когда было много гроз, у Фронтенаков постоянно возникали ссо-

[8] Примечания: 8

Гурмон Реми Де (1858-1915) — французский писатель и критик. В сборнике своих стихов «Извержение вулкана» и в критических этюдах «Книга масок» он изложил свою концепцию символизма.

ры и обиды. Ив вскакивал из-за стола, бросал салфетку; или же Бланш Фронтенак уходила к себе в комнату и спускалась оттуда с заплаканными глазами и опухшим лицом лишь после нескольких дипломатических миссий и просьб удрученных детей.

X

Буря, которую предвещали все эти явления, разразилась в сентябре, на день Богоматери. После завтрака госпожа Фронтенак, дядя Ксавье и Жан-Луи уселись в маленькой гостиной при закрытых ставнях. Обе створки двери в бильярдную, где прилег, пытаясь заснуть, Ив, были распахнуты. Ему надоедали мухи; оказавшаяся пленницей стрекоза билась о потолок. Девочки, несмотря на жару, ездили на велосипедах вокруг дома навстречу друг другу и, встречаясь, приветствовали друг друга радостными криками.

— Нужно назначить день этого обеда до отъезда дяди Ксавье, — говорила госпожа Фронтенак. — Ты, Жан-Луи, увидишь нашего славного Дюссоля. Поскольку тебе придется работать с ним...

Ив обрадовался тому, что Жан-Луи стал живо возражать:

— Да нет же, мама... Я тебе уже столько раз говорил и повторял... Ты никогда не хочешь меня слушать: у меня нет ни малейшего желания заниматься делами.

— Это в тебе говорит детство... Я никогда не принимала этого всерьез. И ты сам прекрасно

понимаешь, что рано или поздно тебе все равно нужно будет решиться занять свое место в фирме. И чем раньше, тем лучше.

— Дюссоль, несомненно, человек славный, — сказал дядя Ксавье, — и он вполне заслуживает доверия; и тем не менее уже давно пора, чтобы кто-нибудь из Фронтенаков сунул нос во все эти дела.

Ив приподнялся на локте и напряг слух.

— Коммерция меня не интересует.

— А что тебя интересует?

Жан-Луи поколебался на мгновение, покраснел и наконец отважно бросил:

— Философия.

— Ты что, сумасшедший? Зачем тебе еще это? Ты будешь делать то, что делали твой отец и твой дед... Философия — это не профессия.

— После кандидатского экзамена я рассчитываю написать диссертацию. Мне торопиться особенно некуда. Я получу место преподавателя в университете.

— Вот как, и это твой идеал! — воскликнула Бланш. — Ты хочешь быть чиновником! Нет, вы только послушайте его, Ксавье! Чиновником! И это при том, что в его распоряжении находится первая в наших местах торговая фирма.

В этот момент в маленькой гостиной появился Ив, с растрепанными волосами, с горящими глазами. Он прошел сквозь облако дыма, которым вечная сигарета дяди Ксавье окутывала мебель и лица.

— Как вы можете сравнивать, — закричал он своим пронзительным голосом, — профессию торговца лесом с занятиями человека, который посвящает свою жизнь духовным вещам? Это же... это же просто непристойно...

Взрослые с недоумением смотрели на этого буяна без пиджака, в расстегнутой рубашке и с падающими на глаза волосами. Его дядя дрожащим голосом спросил его, зачем он вмешивается не в свое дело, а мать приказала ему выйти из комнаты. Но он, не слушая их, продолжал кричать, что, «естественно, в этом дурацком городе все думают, что любой торговец, чем бы он ни торговал, значит больше, чем кандидат филологии. Какой-нибудь посредник по торговле винами воображает, что он имеет превосходство над Пьером Дюэмом, профессором на факультете точных наук, которого здесь не знают даже по имени, за исключением тех тягостных моментов, когда возникает потребность помочь какому-нибудь тупице получить степень бакалавра...» (Надо

сказать, что, попроси они перечислить работы Дюэма, он оказался бы в довольно затруднительном положении.)

— Нет! Вы только послушайте его! Он здесь еще речи произносит... Сопляк! Утри нос лучше...

Ив не обращал никакого внимания на все попытки прервать его. Он говорил, что дух презирают не только в этом глупом городе, во всей стране преподавателей, интеллигенцию совершенно не ценят. «... Во Франции слово „преподаватель“ является ругательством, в то время как в Германии оно равнозначно аристократическому титулу... А еще считаемся великим народом!» Лающим голосом он теперь ругал родину и патриотов. Жан-Луи тщетно старался его остановить. Дядя Ксавье, вышедший из себя, пытался возражать, но его никто не слушал.

— Я здесь вне подозрений. Всем известно, на чьей я стороне... Я всегда верил в невиновность Дрейфуса[9], но я не потерплю, чтобы какой-то сопляк...

И тут у Ива вырвались опрометчивые слова

---

[9] Примечания: 9

Дрейфус Альфред (1859-1936) — офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности. В 1894 г. против него было сфабриковано дело о шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств, приговорен к пожизненной каторге.

о «побежденных 1870 года», грубость которых отрезвила даже его самого. Бланш Фронтенак встала:

— Теперь он оскорбляет собственного дядю! Выйди отсюда. Чтобы я тебя больше не видела!

Он пересек бильярдную, вышел на крыльцо. Знойный воздух раскрылся перед ним и охватил его со всех сторон. Он углублялся в неподвижный парк Тучи мух гудели, кружась на месте, оводы приклеивались к его рубашке. Он не испытывал никаких угрызений совести, а только унижение оттого, что потерял голову, что случайно разбудил лиха. Ему бы лучше было не горячиться и ограничиться только предметом спора. Они правы: он всего лишь ребенок... То, что он сказал дяде, было ужасно, и ему никогда не будет прощения. Как вернуть себе их расположение? Странно было то, что ни мать, ни дядя не утратили в его глазах ни капли своего престижа. Хотя он был слишком молод, чтобы поставить себя на их место, проникнуть в их рассуждения. Ив не судил их: мама, дядя Ксавье оставались неприкосновенны, они были частью его поэтического детства, откуда они уже не могли вырваться. Что бы они ни говорили, что бы ни делали, ничто, казалось Иву, не в силах отделить их от тайны

его собственной жизни. Сколько бы мама и дядя Ксавье ни святотатствовали против духа, дух пребывал в них самих, помимо их воли, освещал их изнутри.

Ив пошел обратно. Хотя из-за грозы небо и потускнело, грома пока не было; цикады больше не пели; только луга, казалось, трепетали. Ив шел впереди, мотая головой, как жеребенок, чтобы спастись от плоских мух, которых он давил у себя на лице и на шее. «Побежденные 1870 года...» Он не хотел никому причинять боль: дети часто шутили в присутствии дяди Ксавье по поводу того, что ни он, ни Бюрт, записавшиеся в добровольцы, не видели ни одного пруссака. Однако на этот раз шутка обрела совершенно иной смысл. Он медленно поднялся по крыльцу, остановился в прихожей. Они еще находились в гостиной. Дядя Ксавье рассказывал: «...Перед тем как вернуться в часть, я захотел в последний раз обнять моего брата Мишеля; я перелез через стену казармы и, когда спрыгивал с нее, сломал себе ногу. В госпитале меня поместили с больными оспой. Я чуть было не отдал там концы. Твой бедный отец, у которого в Лиможе не было никаких знакомых, столько усилий предпринял, чтобы вытащить меня оттуда. Бедный Мишель!

Он тщетно пытался завербоваться (в том году он заболел плевритом)... Ему пришлось прожить в этом ужасном Лиможе несколько месяцев, хотя видеться со мной он мог только раз в день не больше часа...»

Дядя Ксавье прервал свой рассказ: на пороге маленькой гостиной снова появился Ив; он видел, как к нему повернулись встревоженные глаза Жана-Луи, желчное лицо матери; дядя Ксавье на него не смотрел. Ив безуспешно пытался найти какие-нибудь слова, но на помощь ему пришел еще живший в нем ребенок; ничего не говоря, он резко рванулся и бросился на шею дяде; он обнимал его и плакал; потом он повернулся к матери, сел к ней на колени, спрятал лицо, как в былые времена, у нее между плечом и шеей.

— Да, милый, ты вовремя одумался... Но нужно контролировать свои слова, держать себя в руках...

Жан-Луи встал, подошел к окну, чтобы не видели его наполнившихся слезами глаз. Он высунул руку и сказал, что на нее упала капля. Все это не помогало. Приближалась невероятная череда дождевых туч, подобно сети, наброшенной на него в этой маленькой гостиной, — наброшенной навсегда.

Дождь прекратился. Жан-Луи и Ив шли к большому дубу.

— Ты не сдашься, Жан-Луи?

Тот не ответил. Засунув руки в карманы, опустив голову, он поддавал ногой сосновую шишку. Поскольку брат продолжал настаивать, он сказал тихим голосом:

— Они утверждают, что это мой долг по отношению к вам. По их мнению, Жозе один не сможет занять подобающее место в фирме. А если я стану во главе, то тогда и он тоже сможет подключиться... И еще они считают, что когда-нибудь даже ты с превеликой радостью присоединишься ко мне... Только не сердись... Они не в состоянии понять, кто ты есть... Представляешь, они доходят до того, что предусматривают, что, может быть, Даниэль и Мари выйдут замуж за людей без положения...

— Ах! Они смотрят так далеко! — вскричал Ив, раздраженный тем, что, по их мнению, он тоже способен закончить свои дни у той же кормушки. — Ах! Они ничего не оставляют на волю случая, организовывают счастье каждого и даже не понимают, что можно хотеть быть счастливым как-нибудь по-другому...

— Для них речь идет не о счастье, — сказал Жан-Луи, — а о действиях, направленных на

общее благо и о защите интересов семьи. Нет, речь не идет о счастье... Ты заметил? Это слово они не употребляют никогда... Счастье... Сколько я помню, у мамы на лице всегда было выражение муки и тоски... Если бы папа был жив, я думаю, у него было бы то же самое... Нет, не счастье, а долг... определенная форма долга, которую они принимают без колебаний... И самое ужасное, малыш, состоит в том, что я их понимаю.

Братья смогли добраться до большого дуба до начала дождя. Они стояли и слушали, как капли стучат по листьям. Однако они стояли сухие: живое дерево защищало их своей листвой, еще более густой, чем птичьи перья. Ив с некоторым пафосом говорил о единственном долге, о долге по отношению к тому, что мы носим в себе, по отношению к нашему творчеству. Есть слово, эта помещенная в нас Богом тайна, которую нужно высвободить... Существует некая весть, которую нам поручено сообщить...

— Почему ты говоришь «мы»? Говори от своего имени, малыш. Да, я верю, что ты вестник, что ты являешься носителем тайны... Но как матери и дяде Ксавье узнать об этом? Что касается меня, то я боюсь, что они правы и что, став преподавателем, я буду всего лишь растолковывать чужие

мысли... Это тоже лучше, чем все остальное, и стоит того, чтобы потратить на это всю жизнь, но...

Из куста выскочил Стоп, подбежал к ним с высунутым языком: очевидно, Жозе находился где-то поблизости. Ив обратился к перепачканной собаке, как к человеку:

— Ну что, из болота вылез, так ведь, старина?

Вскоре из зарослей показался и Жозе. Он со смехом показал свой пустой ягдташ. Он все утро бродил по болоту Тешуэйр.

— Ничего? Коростели разлетаются ко всем чертям. Видел, как в воду упали два кулика, но найти их не смог... — Утром он не побрился, и его детские щеки потемнели от жесткой щетины.

— Похоже, где-то около Биуржа живет кабан.

Вечером дождь прекратился. Ив видел, как после ужина, при свете поздней луны Жан-Луи долго гулял в компании матери и дяди. Он наблюдал за этими тремя тенями, исчезавшими в посыпанной гравием аллее; потом черная группа возникла у сосен, выходя на освещенное лунное пространство. Слышался вибрирующий голос Бланш, прерываемый иногда более высоким и резким тембром Ксавье. Жан-Луи молчал: он попал в эти тиски; у него не было никакой защиты... «Ну я-то им не сдамся...» Однако, злясь на своих

родных, Ив смутно понимал, что только он один ожесточенно цепляется за детство. Царь Ольшаника манил его не в какое-то неведомое царство — ах! это царство не таило для него никакой тайны. Ольшаником, откуда доносился опасно нежный голос, назывались деревья ольхи, растущие в краю Фронтенаков, их ветви ласкали ручей, чье имя знали только они. Король Ольшаника не вырывал детей Фронтенаков из их детства, но он мешал им оттуда выходить; он хоронил их в их мертвой жизни, присыпая сверху обожаемыми воспоминаниями и истлевшими листьями.

— Я пошла, оставляю тебя с дядей, — сказала Бланш Жану-Луи.

Она прошла совсем рядом с Ивом, не заметив его, а он наблюдал за ней. Луна осветила измученное лицо матери. Бланш, думая, что она одна, сунула руку в разрез кофты: ей внушала беспокойство эта железа... Сколько ее ни убеждали, что беспокоиться не следует... Она все пробовала на ощупь эту железу. Нужно, чтобы Жан-Луи успел стать еще до ее смерти главой фирмы, хозяином ее состояния, защитником младших детей. Она молилась за свой выводок: ее поднятые к небу глаза видели, как Богоматерь, о чьей лампаде она заботилась в церкви, простирает покров над

младшими Фронтенаками.

— Послушай, малыш, — говорил дядя Ксавье Жану-Луи, — я разговариваю с тобой как со взрослым, я не выполнил своего долга по отношению к вам; мне следовало занять в фирме место, оставшееся незанятым после смерти твоего отца... Ты должен исправить мою ошибку... Нет, не возражай... Ты говоришь, что меня ничто не заставляло? В тебе достаточно много духа семьи, чтобы понять, что я дезертировал. Ты восстановишь цепь, порвавшуюся по моей вине. Это не так уж скучно — руководить мощной фирмой, которая сможет приютить и твоих братьев, и, возможно, мужей твоих сестер, а потом и ваших детей... Мы понемногу устраним от участия в делах фирмы Дюссоля... Это вовсе не помешает тебе быть в курсе всего, что будет появляться нового. Твоя культура сослужит тебе добрую службу... Я как раз читал одну статью в газете «Тамп», где доказывалось, что греческий и латинский языки, в общем, гуманитарные науки, способствуют формированию великих капитанов индустрии...

Жан-Луи не слушал. Он знал, что уже потерпел поражение. Он рано или поздно все равно капитулировал бы, но сейчас он отчетливо сознавал, какой аргумент сразил его: слова, только что

произнесенные матерью. «Вместе с Дюссолем мы сможем пригласить и всех Казавьей...» А затем она добавила: «Когда закончишь службу в армии, ничто не помешает тебе жениться, если у тебя будет такое желание...»

Рядом с ним шел дядя Ксавье, окутывая его запахом сигары. Но в один прекрасный вечер рядом с ним будет идти немного грузная девушка... Он сможет записаться на военную службу и жениться в двадцать один год. Так что ему остается ждать только два года, и вот как-нибудь вечером, по заведенному обычаю, он будет гулять в темноте по парку Буриде с Мадлен. И вдруг радость, охватившая его при мысли об этом браке, потрясла его с ног до головы. Он быстро задышал, нюхая воздух, который пролетел над дубами Леожа, овеял белый от лунного света дом и надул кретоновые шторы в комнате, где Мадлен, возможно, еще не спала.

XI

— Это машина марки «Фуарон». Я доехал от Бордо за три часа: семьдесят километров... ни единой неполадки.

Гости госпожи Фронтенак окружили Артюра Дюссоля, еще укутанного в защищающий от пыли серый шарф. Он снял автомобильные очки. Прищурив глаза, он улыбался: Казавьей, с недоверчивым и уважительным видом склонившийся над машиной, пытался сформулировать вопрос.

— У нее гибкие шайбы, — говорил Дюссоль.

— Да, последний крик! — промолвил Казавьей.

— Самый последний крик Я, вы же знаете (и Дюссоль тихо засмеялся), никогда не плелся в хвосте.

— Достаточно взглянуть на ваши передвижные лесопилки... А какие у этого нового автомобиля характеристики?

— Еще недавно, — важно сообщил Дюссоль, — ретрансмиссия передавалась на колеса с помощью цепей. А теперь вместо них только две гибкие шайбы.

— Это просто восхитительно, — сказал Каза-

вьей. — Только две гибкие шайбы, и все?

— Ну и, естественно, их соединения: приводной ремень в виде цепи. Представьте себе два корпуса без сочленения...

Мадлен Казавьей потащила Жана-Луи за собой. Жозе с нескрываемым интересом расспрашивал господина Дюссоля о переключениях скоростей.

— Скорость можно переключать с помощью простого рычага (господин Дюссоль, откинув голову назад, важный, как священник во время богослужения, похоже, готов был перевернуть мир). Как в паровых машинах, — добавил он.

Дюссоль и Казавьей медленно шли и разговаривали; Ив шел за ними, привлеченный буквально сочащейся из них важностью. Иногда они останавливались перед какой-нибудь сосной, окидывали ее взглядом и начинали обсуждать, какова ее высота, пытались угадать, сколько она будет в диаметре.

— Послушайте, Казавьей, сколько, по-вашему...

Казавьей называл какую-нибудь цифру. И тут Дюссоля разбирал смех, сотрясая его как бы приставленный к нему, казавшийся ненастоящим живот.

— Вы не угадали.

Он извлекал из кармана складной метр, изме-

рял толщину ствола. И торжествующим голосом заявлял:

— Смотрите! Согласитесь, что я не намного ошибся...

— А знаете, сколько можно получить из одного дерева такой высоты?

Дюссоль задумчиво созерцал сосну. Казавьей молчал, застыв в почтительной позе. Он ждал ответа предсказателя. Дюссоль брал свою записную книжку и начинал подсчитывать. Наконец называл цифру.

— Никогда бы не подумал, — сообщал Казавьей. — Великолепно...

— Мой глазомер помогает мне в торговле...

Ив вернулся домой. Непривычный запах соусов и трюфелей пронизывал это прекрасное сентябрьское утро. Он бродил вокруг кухни. Дворецкий возмущался, что забыли перелить в графины вино. Ив прошел через столовую. Малышка Дюбюш будет сидеть между ним и Жозе. Он перечитал меню: *заяц по-виллафранкски, ежевичный десерт...* Он вышел из комнаты и присоединился к остальным; Дюссоль с метром в руке, присев на корточки, измерял что-то между колесами тильбюри.

— Ну, что я вам говорил? Еще не скоро ваш

тильбюри окажется на дороге... Я сразу увидел это... Не верите? Нате, измерьте сами.

Теперь рядом с Дюссолем присел еще и Казавьей; и Ив с удивлением созерцал их два огромных зада. Они встали, багровые от перенапряжения.

— Надо же, Дюссоль, вы правы! Вы просто необыкновенный человек!

Дюссоля сотрясал тихий смех. Он умирал от самодовольства и самолюбования. Его глаз уже больше не было видно: от них осталось только то, что помогает оценить прибыль, которую можно извлечь из людей и вещей.

Мужчины пошли к дому. Иногда они останавливались, смотрели друг на друга, словно решая какую-то проблему, связанную с вечностью, и снова отправлялись в путь. И у Ива, неподвижно стоявшего посреди аллеи, вдруг возникло желание, ужасное и пьянящее, коварно выстрелить по ним сзади. Паф! Прямо в затылок, и они упадут. Двойной выстрел: паф! паф! Ну почему он не император или хотя бы какой-нибудь негритянский царек...

— Я — чудовище, — громко сказал он.

Тут дворецкий закричал с крыльца:

— Кушать подано!

— Ну да, естественно, пальцами...

Они поедали раков. Трещали панцири; они тщательно все обсасывали, раздираемые желанием ничего не оставить и желанием показать хорошие манеры. Ив видел вблизи хрупкую загорелую руку малышки Дюбюш, детскую руку, соединенную с круглым и в то же время нематериальным плечом. Он лишь изредка осмеливался смотреть на ее лицо, большую часть которого занимали глаза. Крылья носа были и в самом деле крыльями. И только губы, слишком крупные и недостаточно красные, сближали этого ангела с остальными людьми. Некоторые считали ее недостатком не слишком густые волосы; однако ее прическа (пробор посередине и две макаронинки на ушах) подчеркивала красоту, которую не всем удавалось увидеть с первого взгляда: правильную форму головы, контур затылка. Иву припомнились виденные в его учебнике по древней истории репродукции египетских барельефов. И ему доставляло такое удовольствие смотреть на эту девушку, что он даже не пытался разговаривать с ней. В начале трапезы он предположил, что в загородном доме у нее, наверное, много времени для чтения; она едва ответила ему, а теперь беседовала об охоте и лошадях с

Жозе. Обычно брат ходил непричесанный, неухоженный, отчего Ив называл его «дитя лесов», а тут он заметил, что у того уложены волосы, зубы сияют белизной, а смуглые щеки порозовели от бритвы. Но что самое главное, он, обычно молчаливый, сейчас разговаривал, смешил свою соседку, а та восклицала: «Ну какой вы глупый! Вы думаете, что это так уж остроумно!»

Жозе не отрывал от нее глаз, каких-то особенно серьезных, в чем Ив пока что был не способен распознать желание. Однако сейчас он вспомнил, что мать не раз повторяла: «Жозе... за ним нужен будет глаз да глаз... С ним я хлебну забот...» Он часто бегал на ярмарки, на деревенские праздники. Иву казалось глупым тратить время на лотереи и на деревянных лошадок Однако во время последнего праздника он убедился, что брата там интересует вовсе не манеж, а танцы с дочками арендаторов.

И Иву вдруг стало грустно. Само собой, малышка Дюбюш, которой исполнилось семнадцать лет, не придает никакого значения Жозе. Тем не менее она охотно смеялась вместе с ним. Между ними существовало взаимопонимание, которое выражалось не только в словах; взаимопонимание, возникавшее помимо их воли, согласие,

которое живет в крови. Иву показалось, что он ревнует, и он устыдился этого своего чувства. На самом же деле он чувствовал себя всеми покинутым, одиноким. Он не говорил себе: «И я тоже в один прекрасный день... может, очень скоро...»

А на другом конце стола на лицах у Жана-Луи и Мадлен Казавьей было такое выражение, словно этот обед давался по случаю их помолвки. Ив, выпивавший все наливаемые ему бокалы, видел в тумане в конце двойного ряда налитых кровью лиц своего брата, будто в какой-то яме, которая поглотила его навсегда. А рядом с ним сидела красивая особь, послужившая приманкой, и предавалась отдыху, выполнив задачу. Мадлен отнюдь не была такой полной, какой виделась Иву. Она отказалась от коротких болеро. Платье из белого муслина оставляло открытыми ее красивые руки и изящную шею. Расцветшая и одновременно девственно чистая, она была спокойна, она ждала. Иногда они обменивались словами, которые Иву хотелось бы подслушать. Эти слова удивили бы его своей незначительностью. «Вся жизнь перед нами, — размышлял Жан-Луи, — чтобы объясниться...» Они говорили о ежевике, которую им подали и которую было трудно достать, об охоте на вяхиря, о манках,

которые нужно будет вскоре расставить, так как витютни, которые идут перед вяхирями, должны уже вот-вот появиться. Вся жизнь, чтобы объяснить Мадлен... Объяснить что? Жан-Луи не сомневался, что пройдут годы, что на его долю выпадут тысячи драм, что у него будут дети, двоих из которых он потеряет, что он скопит огромное состояние, которое под конец его жизни лопнет, но что при любых обстоятельствах они с Мадлен будут обмениваться все такими же простыми словами, которых им не хватает сейчас, на заре их любви, на этом бесконечном обеде, когда вазы для фруктов гудели от ос, а мороженое оседало в своем розовом соке.

А Ив созерцал это жалкое счастье Жана-Луи и Мадлен с презрением и завистью. Малышка Дюбюш ни разу не повернулась к нему. Жозе, большой любитель поесть, забывал брать себе добавки, но, как и Ив, опорожнял все наливаемые ему бокалы. На лбу у него выступили капельки пота. Околдованный, Жозе давал себе зарок, что пригласит сейчас девушку на прогулку.

— Вы взглянете на мою голубятню до отъезда? Обещайте мне...

— Это ту, что у Мариана? Да вы с ума сошли! Туда больше получаса ходьбы.

— Зато можно было бы спокойно поговорить...

— О! Мы уже и так поговорили, вы уже успели наговорить достаточно глупостей!

Она внезапно обратила на Ива свои наполненные светом глаза:

— Какой он долгий, этот обед!

Иву, ослепленному, захотелось закрыть глаза руками. Растерянный, он соображал, что ответить. Подали пирожные. Он посмотрел на мать, которая в приступе рассеянности забыла, что пора вставать из-за стола. Глядя в пространство, она скользнула двумя пальцами между двумя пуговицами кофты и, пока кюре рассказывал ей про свои распри с мэром, думала об агонии, о смерти, о божьем суде, о разделе владений.

XII

Сытых мужчин влекло к кофе и ликерам, расставленным под дубами. Дюссоль отвел в сторону дядю Ксавье, и Бланш Фронтенак обеспокоенно поглядывала на них. Она опасалась, как бы ее деверь не дал себя обмануть. Ив обогнул дом и пошел по пустынной аллее, ведущей к большому дубу. Ему не понадобилось идти слишком далеко, чтобы не слышать больше голосов, чтобы не чувствовать запаха сигар. Дикая природа начиналась прямо тут же: уже даже ближайшие деревья ничего не знали ни об обеде, ни о пришедших на него гостях.

Ив перешел на ту сторону оврага; он был немного пьян (хотя и не так сильно, как он опасался, ведь выпил он весьма и весьма прилично). Его ждала его берлога, его кабанье логово: утесники, которые в ландах называют жогами, высокие, в человеческий рост папоротники охватывали его со всех сторон, защищали его. Это было место слез, место запретных книг, безумных слов и приступов вдохновения; отсюда он обращался к Господу, то славя его в своих молитвах, то богохульствуя. Со времени его последнего визита

прошло несколько дней, и уже в нетоптаном песке муравьи-львы соорудили свои маленькие воронки. Ив взял одного муравья и бросил его в такую воронку. Тот попытался выбраться, но осыпающиеся склоны разрушались под ним, а из глубины воронки чудовище уже бросалось песком. Едва достигнув края пропасти, измученный муравей снова скользнул вниз. И вдруг он почувствовал, как его хватает какая-то лапа. Он пытался отбиваться, но чудовище медленно тащило его под землю. Ужасная пытка! А вокруг в теплом спокойном воздухе вибрировали сверчки. Летели стрекозы, не решаясь присесть; от розового и рыжего вереска, заполненного пчелами, уже шел запах меда. Теперь из песка выглядывала только голова муравья и две маленькие, отчаянно двигавшиеся лапки. И шестнадцатилетний мальчик, склонившийся над крошечной тайной, размышлял о проблеме зла. Вот личинка, которая создает эту западню и которая должна, чтобы выжить и стать бабочкой, подвергать муравьев этой ужасной агонии; попытки испуганного насекомого выбраться из воронки, повторяющиеся падения и хватающее его чудовище... Этот кошмар был частью Системы... Ив взял сосновую иголку, выкопал муравья-льва, маленькую мяг-

кую личинку, лишенную отныне своей силы. А освобожденный муравей с той же деловитостью, что и у его товарищей, побежал по дорожке, похоже, уже не вспоминая о случившемся, очевидно, потому, что событие было естественным, потому, что оно вписывалось во все, что происходит в природе... Но Ив-то был здесь, со своим сердцем, со своим страданием, в этом пристанище из жогов. Даже если бы он был одним-единственным человеческим существом, дышащим земным духом, его уже достаточно, чтобы разрушить слепую необходимость, чтобы разорвать эту бесконечную цепь чудовищ, поочередно пожирающих и пожираемых; он мог разорвать ее. В ужасный мировой порядок любовь вносит потрясение. Это тайна Христа и тех, кто подражает Христу. «Ты избран для этого... Я избрал тебя, чтобы все нарушать...» Мальчик сказал вслух: «Это я сам говорю...» (и надавил обеими ладонями на свое залитое потом лицо). И всегда только мы сами говорим самим себе. Он попытался больше ни о чем не думать. Очень высоко в лазури, на юге, появилась стая витютней, и он проследил за ними взглядом, пока они не скрылись вдали. «Ты же знаешь, кто я такой, — говорил его внутренний голос, — я, избравший тебя». Присев на корточки,

Ив взял горсть песка и бросил ее в пустоту, приговаривая с растерянным видом: «Нет! Нет! Нет!»

— Я тебя избрал, я наставил тебя в стороне от других, я пометил тебя своим знаком.

Ив сжал кулаки, говоря себе, что все это бред, что это действует вино. Пусть его оставят в покое, он ничего не требует. Он хочет быть обыкновенным юношей, каким положено быть в его возрасте, похожим на всех своих ровесников. Тогда он сумел бы избавиться от одиночества.

— Я всегда сумею воссоздать одиночество вокруг тебя.

— Разве я не свободен? Я вольный человек! — закричал он.

Он стоял, и его тень шевелилась на листьях папоротника.

— Ты волен носить в этом мире сердце, которое я создавал не для мира; волен искать на земле пищу, которая не предназначена тебе; волен пытаться утолить голод, который ничто не способно утолить; ты не найдешь умиротворения ни с кем из людей и только будешь метаться от одного к другому...

«Я разговариваю сам с собой, — повторял мальчик, — я такой же, как другие, я похож на других».

В ушах у него шумело; желание поспать свалило его на песок и положило его голову на согнутую руку. Его окружало жужжание шмеля, потом оно удалилось, растворилось в небе. Восточный ветер нес с собой запах свежеиспеченного хлеба и лесопилок. Он закрыл глаза. На его лицо, у которого был вкус соли, налетели мухи, и он отгонял их сонным движением руки. Этот распростертый на земле подросток не мешал вечерним сверчкам; с ближайшей сосны спустилась белка, чтобы напиться из ручья, и пробежала совсем рядом с его неподвижным телом. Какой-то муравей, возможно, тот самый, которого он освободил, пополз вверх по его ноге; за ним стали карабкаться другие. Сколько времени понадобилось бы ему оставаться совершенно неподвижным, чтобы они осмелели и начали растаскивать его на части?

Свежесть, которой потянуло от ручья, разбудила его. Он вышел из зарослей. Пиджак его был испачкан смолой. Он вытащил из волос несколько застрявших там сосновых иголок. Туман с полей все больше и больше захватывал лес, и этот туман походил на пар, поднимающийся изо рта в холодную погоду. На повороте аллеи Ив столкнулся лицом к лицу с матерью, читавшей

молитву. Она набросила на свое праздничное платье старую фиолетовую шаль. Верх платья украшали «просто прелестные», как она имела обыкновение говорить, кружева. Длинная золотая с жемчугом цепь была скреплена брошью: огромными переплетенными буквами Б и Ф.

— Откуда это ты? Тебя тут искали... Это не слишком вежливо.

Он взял руку матери, прижался к ней.

— Я боюсь людей, — сказал он.

— Боишься Дюссоля? Боишься Казавьей? Ты с ума сошел, мой бедный дуралей.

— Мама, это людоеды.

— Как бы то ни было, — задумчиво сказала она, — объедков они после себя не оставляют.

— Ты думаешь, через десять лет от Жана-Луи что-нибудь еще останется? Дюссоль постепенно сожрет его.

— Что за глупости ты говоришь!

Но тон Бланш Фронтенак выражал нежность:

— Пойми меня, милый... Я спешу увидеть Жана-Луи определившимся. Его очаг будет вашим очагом; когда он образуется, я смогу уйти со спокойной душой.

— Нет, мама!

— Ну посмотри сам. Я вынуждена то и дело

отдыхать.

Она тяжело опустилась на скамейку возле старого дуба. Ив увидел, что она ощупывает грудь под кофтой.

— Ты же знаешь, что это не злокачественная опухоль, Арнозан тебе сто раз говорил...

— Вроде бы так... А еще этот ревматизм в сердце... Вы даже не знаете, что я испытываю. Смирись с этой мыслью, мой мальчик; тебе нужно к ней привыкнуть... Чуть раньше, чуть позже...

Он снова прижался к матери и обхватил ладонями ее крупное измученное лицо.

— Ты здесь, — сказал он, — ты всегда здесь.

Бланш почувствовала, что он дрожит, и спросила, не замерз ли он. Она накинула на него свою фиолетовую шаль. Они теперь сидели, оба укрытые этой старой шерстяной шалью.

— Мама, эта шаль... Она была у тебя уже во время моего первого причастия, у нее все тот же запах.

— Твоя бабушка привезла ее из Сали.

Возможно, в последний раз Ив прижался к своей живой матери, которая могла исчезнуть в любой момент. А Юр так и будет из века в век нести свои воды. До скончания века облачко с этого луга будет подниматься к этой вот первой

звезде.

— Я хотела бы знать, мой милый Ив, ты знаешь столько разных вещей... на небе продолжают думать о тех, кого оставили на земле? О! Я верю в это! Верю! — с силой повторила она. — Я не допускаю ни единой мысли против веры... но как представить мир, где вы не будете для меня всем, мои дорогие?

И Ив подтвердил ей, что всякая любовь осуществляется в единой любви, что всякая нежность очистится от всего, что ее отягощает... И он удивился этим словам, которые сам же произносил. Мать вполголоса вздохнула:

— Хорошо бы, чтобы никто из вас не погиб!

Они встали, и Ив чувствовал, как его охватывает волнение при прикосновении этой старой, опиравшейся на его руку женщины.

— Я всегда говорю: вы не знаете моего маленького Ива; он изображает из себя вольнодумца, но из всех моих детей он стоит ближе всех к Богу...

— Нет, мама, не говори так, нет, нет!

Внезапно он отпрянул от нее.

— Что с тобой? Ну что это с ним происходит?

Он шел впереди, руки в карманах, плечи приподняты; она, задыхаясь, едва поспевала за ним.

После ужина госпожа Фронтенак, утомленная,

поднялась к себе в комнату. Поскольку ночь была светлая, другие члены семьи пошли прогуляться в парк, но уже не вместе: сама жизнь начала разбрасывать ребят в разные стороны. Жан-Луи встретился с Ивом на повороте аллеи, и они не остановились. Старший предпочел одиночество, чтобы думать о своем счастье; у него уже не было ощущения, что он потерпел какой-то ущерб, что он упал; некоторые слова Дюссоля, касавшиеся рабочих, пробудили в юноше еще совсем, смутные надежды: он будет, несмотря на своего компаньона, творить добро, будет стараться помогать установлению христианского общественного порядка. Вместо того чтобы играть в слова, он займется конкретными делами. Что бы там Ив ни думал, это окажется важнее всяких умствований. Даже самое малое милосердное деяние является намного более достойным... Жан-Луи не был бы счастлив, если бы ему приходилось заставлять работать несчастных... «Помочь им создать очаг по образцу и подобию моего очага...» Он увидел огонек сигары дяди Ксавье. Они прошлись немного вместе.

— Ну, ты доволен, малыш? Доволен? А что я тебе говорил!

Жан-Луи не пытался рассказать дяде обо всех

проектах, наполнявших его душу энтузиазмом; а дядя не мог поведать ему, какую он испытывает радость от возвращения в Ангулем. Он компенсирует Жозефе, без чрезмерных трат... Может быть, удвоит ежемесячную выплату... Он скажет ей: «Вот видишь, а если бы мы съездили в это путешествие, оно бы не закончилось...»

«Прежде всего, — размышлял Жан-Луи, — прежде бескорыстного служения, основные реформы: участие в прибылях». Теперь он будет побольше читать об этом.

В лунном свете они увидели Жозе, пересекавшего аллею между двумя группами деревьев. Они услышали, как у него под ногами хрустнула ветка. Куда мчался он, этот ребенок Фронтенак, этот юный лис, рыскающий по лесным тропам? Обладающий наиболее развитым из всех Фронтенаков инстинктом, неприкаянный самец, бродивший в поздний час по зарослям в полной уверенности, что так и не найдет ту, которую ищет. И тем не менее он все ходил и ходил, шурша сухими листьями, раня руки о жоги, пока не добрался до примыкавшего к парку хутора Буриде. Зарычала собака под беседкой из виноградных лоз, окно кухни было открыто. Семья сидела за столом,

освещенном лампой Пижон[10]. Жозе видел профиль молодой замужней женщины, у которой над мощной шеей возвышалась маленькая головка. Он не спускал с нее глаз, стоял и покусывал лист мяты

А тем временем Ив завершал свой третий круг по парку. Он не чувствовал усталости, от которой чуть позже заснет, едва коснувшись головой подушки. За ужином он допил все вино, еще остававшееся от праздника на дне бутылок, и теперь его необыкновенно трезвый ум подводил итоги дня и выстраивал доктрину, знакомства с которой Жан-Луи отныне был недостоин. Его полуопьянение давало ему ощущение собственной гениальности: он не будет выбирать, ничто не заставит его выбирать, и он совершенно напрасно ответил «нет» этому требовательному голосу, который, возможно, был голосом Бога. Он не будет никому возражать. И это будет его драма, из которой вырастет его творчество: оно будет выражением душевной боли. Ни в чем не отказывать и ни от чего не отказываться. Любая боль, любая страсть насыщает творчество, наполняет стихотворение содержимым. А поскольку

[10] Примечания: 10

Керосиновая лампа, одним из создателей которой был французский изобретатель Шарль Пижон.

поэт испытывает душевную боль, он также прощен: *«Я знаю, что бережете Вы место поэта — в рядах благословенных легионов святых...»* Его монотонный голос заставил бы Ксавье вздрогнуть — настолько он был похож на голос Мишеля Фронтенака.

Бланш думала, что, едва задув свечку, она тут же и уснет — так велика была ее усталость. Но она слышала шаги своих детей по гравию. Нужно бы послать денег предпринимателю из Распида. Нужно бы попросить баланс ее счета в банке «Креди Лионне». Октябрь уже скоро кончается. Еще хорошо, что есть недвижимость. Но, боже мой! Какое все это имеет значение? И она дотрагивалась до своей опухоли, прислушивалась к биению сердца.

И никто из Фронтенаков не предполагал этой ночью, что вместе с этими длинными каникулами для них заканчивается целая эпоха, что они уже переплелись с прошлым и что, уходя, они навсегда уносят с собой простые и чистые утехи и то невинное счастье, которое не оскверняет сердце.

Только один Ив чувствовал, что происходит какая-то перемена, но лишь потому, что он больше, чем другие, был склонен строить иллюзии. Он

видел себя стоящим на пороге жизни, наполненной жгучим вдохновением и опасными опытами. На самом же деле он, сам того не зная, вступал в скучную эпоху: на протяжении четырех лет его основной заботой станут экзамены; ему предстояло водить дружбу с очень посредственными людьми, а возрастные треволнения и незатейливая любознательность должны были уравнять его с приятелями и сделать его их сообщником. Приближалось время, когда важными жизненными проблемами могли стать и ключ от входной двери, который нужно выпросить у матери, и право задержаться где-то вне дома после полуночи. Он не будет больше несчастным. Иногда, с большими интервалами, из глубин его души, словно из-под земли, начнет вырываться на поверхность нечто похожее на стон; распростившись с друзьями, сидя в одиночестве за столом в «Бордоском кафе» посреди выложенных мозаикой чертополохов и толстомордых женщин, он станет что-то набрасывать в едином порыве на бланках, торопясь, оставляя недописанными буквы, — из страха потерять хотя бы одно из тех слов, которые нам подсказывают лишь раз в жизни. Тогда ему нужно будет поддерживать жизнь другого его «я», которое немногочисленные посвященные в Па-

риже уже превозносили до небес. Правда, их было настолько мало, что Иву придется потратить много лет на то, чтобы осознать собственную значимость, осознать свою победу. Провинциал, привыкший уважать сложившиеся ценности, он долго не узнает, что существует еще другая слава: та, что рождается в тени, прокладывает свой путь, словно крот, выходит к свету лишь после долгих подземных блужданий.

Однако не обойдут его стороной и переживания, об ужасе которых в ту теплую, влажную сентябрьскую ночь, когда он сидел в своей комнате у распахнутого окна, он не имел ни малейшего представления. Чем больше его поэзия будет объединять людей, тем сильнее он станет ощущать собственное оскудение: люди начнут утолять жажду из его источника, но только он один будет знать, что он постепенно иссякает. Именно это и станет причиной недоверия к себе и нежелания внимать раздавшемуся из Парижа призыву, причиной его долгого сопротивления редактору самого значительного авангардистского журнала и, наконец, причиной того, что он не торопился издавать свои стихотворения отдельной книгой.

Ив стоял и, глядя на смутно вырисовывавшиеся в темноте вершины Буриде и на странницу-лу-

ну, читал вечернюю молитву. Он ждал всего, призывая все, и был согласен даже на страдания, но страшился долгой жизни с утраченным вдохновением, которое подменяется хитростями достигнутой славы. И он не предполагал, что будет изо дня в день рассказывать об этой драме в одной из газет, которая появится после войны; он согласится на это после многолетнего молчания. Благодаря этим ужасным страницам он спасет лицо; они послужат его славе в большей степени, чем стихотворения: они будут очаровывать и приятно волновать поколение людей, утративших надежду. Может быть, глядя этой сентябрьской ночью на задумчиво стоявшего перед уснувшими соснами невысокого подростка, Бог уже видел, как странно соединятся друг с другом последствия; а подросток, считавший себя гордецом, был далек от осознания собственных возможностей и не подозревал, что судьба многих людей оказалась бы иной и на земле, и на небе, если бы Ив Фронтенак никогда не родился.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как же далеко отсюда и птицы, и родники! За ними только конец света.

Рембо

XIII

— Пять тысяч долга за три месяца! Дюссоль, видели ли мы в старое время что-нибудь подобное?

— Нет, Коссад. У нас было уважение к деньгам; мы знали, сколько усилий стоило нашим дорогим родителям заработать их. Нам с детских лет прививали культ Бережливости. «Порядок, труд, экономия» — таков был девиз моего глубокоуважаемого отца.

Бланш Фронтенак прервала его:

— Речь идет не о вас, а о Жозе.

Теперь она уже жалела о том, что доверилась Дюссолю и своему шурину. Когда Жан-Луи раскрыл эту тайну, пришлось поставить в известность Дюссоля, потому что Жозе воспользовался доверием фирмы. Дюссоль потребовал созвать семейный совет. Госпожа Фронтенак и Жан-Луи воспротивились тому, чтобы извещать о случившемся дядю Ксавье: у него было больное сердце, а такой удар мог лишь усилить болезнь. Но Бланш никак не могла понять, зачем вмешивать в это дело Коссада. Ее мнение разделял и Жан-Луи.

Молодой человек сидел напротив матери. Сидячая работа сделала его несколько грузным, и

волосы его, несмотря на его двадцать три года, успели спереди немного поредеть.

— Ну и глупо же он себя повел, наш Жозе, — произнес Альфред Коссад. — Похоже, всем другим эта девица доставалась задаром... Вы видели ее, Дюссоль?

— Да, однажды вечером... О! Не ради своего удовольствия. Как-то раз госпожа Дюссоль пожелала хоть раз в жизни побывать в «Аполло», чтобы иметь представление, что это такое. Я не счел возможным отказать ей. Как вы сами понимаете, мы взяли ложу бенуара! Так что нас там никто не видел. Эта Стефана Парос танцевала... вы понимаете, с голыми ногами...

У дяди Альфреда заблестели глаза, и он наклонился к нему:

— Вроде бы бывают вечера, когда она...

Фраза осталась незаконченной. Дюссоль снял пенсне, запрокинул голову.

— Вот чего не было, того не было, — сказал он. — На ней был купальничек, очень маленький, но все же был. И я выяснял: без него она все-таки не показывается. Неужели вы думаете, что я бы подверг госпожу Дюссоль... Ну что вы! Как можно! Но уже и так, с голыми ногами...

— И босиком... — добавил Альфред Коссад.

— О! Босиком... — и на лице Дюссоля появилось снисходительное выражение.

— Да, а вот мне, — заявил Альфред с какой-то непонятной горячностью, — именно это кажется наиболее отвратительным...

Бланш раздраженно прервала его:

— Это вы, Альфред, отвратительный человек.

Тот стал возражать, подергивая и поглаживая свою бороду:

— О! Ну вы, Бланш...

— Ладно! Довольно об этом. Ваше мнение, Дюссоль?

— Удалить его, моя дорогая подруга. Пусть уезжает как можно быстрее и как можно дальше. Я хотел бы вам предложить Виннипег... но вы, пожалуй, не согласитесь... Нам нужен представитель в Норвегии... У него было бы там жалованье, скромное, если честно, но немного победствовать — это как раз то, что ему нужно, чтобы он понял истинную ценность денег... Вы согласны, Жан-Луи?

Молодой человек, не глядя на своего компаньона, признал, что Жозе и в самом деле нужно удалить из Бордо. Бланш пристально взглянула на старшего сына.

— Не забывай, что и Ив уже уехал...

— О! Вот его-то, — воскликнул Дюссоль, — его-то вам как раз следовало удержать при себе! Мне жаль, что вы не посоветовались со мной. Ничто не заставляло его ехать в Париж. Ну сами посудите, не станете же вы мне говорить про его работу? Я знаю ваше мнение, материнская любовь вас не ослепляет, у вас слишком много здравого смысла. Вряд ли я рассеиваю ваши иллюзии, говоря вам, что его литературное будущее... И я знаю, о чем говорю; я постарался ознакомиться лично... Я даже несколько раз читал вслух госпоже Дюссоль, которая, должен признаться, запросила пощады. Вы скажете, что он получил какие-то положительные отзывы... но откуда они берутся, я вас спрашиваю? Кто такой этот господин Жид[11], письмо которого показывал мне Жан-Луи? Есть экономист с такой фамилией, острейшего ума человек, но речь ведь идет не о нем, к сожалению...

Хотя Жан-Луи уже довольно давно знал, что мать не боится противоречить сама себе и не затрудняет себя чрезмерной заботой о логике, он был тем не менее удивлен, услышав, как она ис-

---

[11] Примечания: 11

Жид Андре (1869-1951) — французский писатель, прозаик, драматург и эссеист, оказавший значительное влияние не только на французскую литературу 20 в., но и на умонастроения нескольких поколений французов. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).

пользует против Дюссоля те же самые аргументы, которые еще вчера вечером он сам использовал против нее:

— Вы бы лучше не говорили о том, что вы не в состоянии понять, о том, что написано не для вас. Вы одобряете только то, о чем вы уже знаете, о чем вы читали где-то еще. Новое вызывает у вас шок и всегда вызывало у людей вроде вас. Разве я не права, Жан-Луи? Мне говорили, что даже Расин[12] в свое время вызывал недоумение у своих современников...

— Вспоминать о Расине в связи с разглагольствованиями этого желторотого птенца!

— Э! Бедный мой друг! Занимайтесь вашими лесами и оставьте поэзию в покое! Это не ваше дело, да и не мое, — добавила она, чтобы успокоить его, ибо он уже начал надуваться, как индюк, и его затылок побагровел.

— Мы с госпожой Дюссоль следим за всеми новинками... Я с давних пор подписан на «Панбиблион». Я даже специально выписываю журналы. Так что и с этой стороны мы идем в ногу со вре-

---

[12] Примечания: 12

Расин Жан-Батист (1639-1699) — французский драматург, один из трёх выдающихся драматургов Франции XVII в., наряду с Корнелем и Мольером, автор трагедий на темы античной мифологии. Сюжеты его драм рассказывают о слепой, страстной любви.

менем. «Что придает особую приятность беседе госпожи Дюссоль, — говорил мне совсем недавно один из моих коллег по Коммерческому суду, — так это ее начитанность, а ее удивительная память позволяет ей рассказывать вам сюжеты романов или пьес, которые удостоились ее внимания много лет назад, словно она прочитала их только что». Он даже выразился так: «Это прямо живая библиотека, ваша жена...»

— Ей повезло, — сказала Бланш. — А вот у меня голова — настоящее сито: ничего там не остается.

Она нарочно преуменьшала свои способности, чтобы обезоружить Дюссоля.

— Уф! — облегченно вздохнула она, когда почтенные господа откланялись.

Несмотря на то что батареи были раскалены, она направилась к камину. Поселившись в доме с центральным отоплением, Бланш так и не привыкла к нему. Ей надо было видеть огонь, нужно было, чтобы огонь обжигал ей ноги — только тогда ей было тепло. Она грустила. Потерять еще и Жозе! А на будущий год он собирался завербоваться в Марокко... Она не должна была отпускать Ива, ей не хотелось признаваться в этом перед Дюссолем, но ведь он и в самом деле мог писать

и в Бордо! Она была уверена, что в Париже он ничего не делает.

— Но ведь это же ты, Жан-Луи, вбил ему в голову эту идею. Сам он никогда бы не уехал.

— Будь справедлива, мама, с тех пор, как сестры вышли замуж, с тех пор, как ты поселилась с ними в этом доме, ты живешь только для их семей, для их детей, и это совершенно естественно! Но Ив среди всех этих пеленок чувствовал себя заброшенным.

— Заброшенным! А я, как я ухаживала за ним все ночи, когда он болел воспалением легких...

— Вот-вот, он говорил, что рад своей болезни, благодаря ей он опять обрел тебя...

— Он просто неблагодарный мальчишка, вот и все! — Поскольку Жан-Луи молчал, она добавила: — А скажи мне, что, по-твоему, он делает в Париже?

— Ну, занимается своей книгой, встречается с другими писателями, разговаривает о том, что его интересует. Устанавливает контакты с журналами, с литературными кругами... В общем, не знаю...

Госпожа Фронтенак покачала головой. Все это ерунда. Как он живет? Он утратил все свои принципы...

— Однако поэзия у него глубоко мистическая, — и Жан-Луи густо покраснел. — Тибоде[13] как-то выразился, что она постулирует метафизику...

— Все это слова... — прервала его госпожа Фронтенак. — Какая там у него метафизика, если он даже не причащается на Пасху... Тоже мне мистик! Мальчишка, который даже не приближается к Святым Дарам! Сам подумай!

Жан-Луи ничего не отвечал, и она продолжила:

— Ну вот, например, когда вы гуляете вместе по Парижу, что он тебе говорит? Рассказывает, с какими людьми встречается? Как брат брату...

— Братья, — сказал Жан-Луи, — могут угадывать мысли друг друга, понимать друг друга, но до определенного предела. Они все-таки не исповедуются...

— Ну что ты мне говоришь? Вы какие-то слишком сложные...

И Бланш, поставив локти на колени, помешала огонь в камине.

— Ну а Жозе, мама?

---

[13] Примечания: 13

Тибоде Альберт (1874-1937) — французский критик, историк литературы и публицист, основные труды которого проникнуты либеральным духом широкой «терпимости» и «объективизма» и посвящены французской литературе 19-20 вв.

— Ах! Уж этот мне мальчишка! К счастью, ты хоть, по крайней мере...

Она посмотрела на Жана-Луи. А так ли уж он счастлив? У него на плечах лежала тяжелая ноша, за многое приходилось отвечать, он не всегда ладил с Дюссолем; и Бланш должна была признать, что ему иногда не хватало осторожности, если не сказать — здравого смысла. Это, конечно, хорошо — быть хозяином с чувством социальной справедливости, но, как говорит Дюссоль, в момент подведения итогов становится ясно, во что это обходится. Бланш была вынуждена согласиться с Дюссолем, когда тот воспротивился созданию «заводских комитетов», где Жан-Луи собирался объединить представителей рабочих и дирекции. Он также не пожелал ничего слышать о «паритетных комиссиях», механизм которых безуспешно пытался ему объяснить Жан-Луи. Однако Дюссоль в конце концов уступил в одном пункте, который, по правде говоря, его молодому компаньону был дороже всего. «Давайте дадим ему попробовать, — сказал Дюссоль. — Пусть это нам недешево обойдется, но он должен развернуться».

Великая идея Жана-Луи состояла в том, чтобы вовлечь персонал в управление всеми делами,

заинтересовать его этим. С согласия Дюссоля он собрал рабочих и изложил им свой план: распределить между всеми рабочими акции в соответствии со стажем работы на фирму. Здравый смысл Дюссоля восторжествовал: рабочим эта затея показалась смешной, и не прошло и месяца, как они продали свои акции. «Я же говорил ему, — повторял Дюссоль. — Но нужно было, чтобы он сам во всем убедился. Я вовсе не жалею о потраченных деньгах. Зато теперь он понимает, с кем имеет дело, и не строит себе иллюзий. Самое забавное, рабочие любят меня за мою хитрость, знают, что меня не проведешь, а к тому же я умею с ними говорить, и они ко мне привязаны, а его, несмотря на все его социалистические идеи, рабочие считают гордым, им кажется, что он держится от них на расстоянии; так что по всем вопросам они обращаются ко мне, а не к нему».

— В сущности, — сказал Жан-Луи, — если ты хочешь, чтобы Жозе остался в Бордо, это нетрудно сделать: Парос передала мне через своего агента, что она не имеет на Жозе никаких видов, что она принимала от него только букеты. Это не ее вина, что Жозе всегда платил в ресторане... Он производил впечатление очень богатого. И к тому же на следующей неделе она покидает

Бордо... Но все-таки я думаю, что для него было бы лучше сменить обстановку, пока он не отслужит в армии... Другая на месте Парос прибрала бы его к рукам. Кстати, я не согласен с Дюссолем: его не следует оставлять без денег...

Госпожа Фронтенак пожала плечами:

— Само собой! Когда он тут рассуждал про нужду, я не возражала, чтобы не раздражать его, но ты же сам понимаешь!

— Тогда я схожу за ним? Он ждет у себя в комнате...

— Да, только зажги свет.

Лампа под потолком залила унылым светом комнату в стиле ампир, оклеенную выцветшими обоями. Жан-Луи привел Жозе.

— Послушай, старина, вот что мы решили...

Провинившийся стоял в тени с опущенной головой. Он выглядел более коренастым, чем его братья, приземистым и широкоплечим. Кожа на лице темная и загорелая, зараставшая до самых скул, сейчас была гладко выбрита. Глядя на юношу, Бланш вспомнила школьника, которого она заставляла когда-то в утренних сумерках повторять уроки и который стоял перед ней с таким же отсутствующим видом, как сейчас, не слушая ее, противопоставляя всем ее мольбам и

всем ее угрозам необыкновенную способность увиливать и отсутствовать; он с наслаждением погружался в каникулярные грезы Буриде, затем целиком погрузился в охотничьи забавы, проводя зимой целые ночи в засадах на диких уток; а потом все свои устремления и желания он вдруг направил на одну женщину, которая слабо подражала Фреголи[14] в провинциальных мюзик-холлах («танцовщица из Севильи! гурия! камбоджийская танцовщица!»). Как-то раз после спектакля один приятель познакомил его с ней; они зашли в кабаре целой компанией. Жозе ей в тот вечер понравился, но только в тот вечер. Он же загорелся, увлекся. Все остальное перестало существовать для него; в конторе он практически не появлялся, и Жану-Луи пришлось взять на себя всю его работу. Робкая, но упорная ревность Жозе выводила женщину из себя...

И вот теперь он стоял перед матерью и братом, стоял с непроницаемым лицом и никак не выражал своих чувств.

— Это серьезное дело, долги, — говорила ему мать, — но пойми меня, дело вовсе не в деньгах. Распутная жизнь, которую ты начал вести, — вот

---

[14] Примечания: 14

Фреголи Леопольд (1867-1936) — знаменитый итальянский актёр-комик.

что прежде всего волнует меня. Я верила в своих детей, полагала, что они сумеют избежать всех этих пошлостей, а мой Жозе...

Был ли он взволнован? Он прошел и сел на диван, где свет упал ему прямо на лицо. Жозе похудел, и казалось, что даже виски его как-то впали. Он спросил лишенным каких бы то ни было эмоций голосом, когда ему нужно уезжать, и, услышав материнское: «в январе, после праздников...», сказал:

— Я предпочел бы как можно скорее.

Он спокойно воспринял это решение. Бланш говорила себе, что у него все наладится. И все же на душе у нее было тревожно, и она всячески успокаивала самое себя. От нее не укрылось, что и Жан-Луи тоже наблюдает за своим младшим братом. Другие на их месте порадовались бы его спокойствию. Но мать и брат знали, что они столкнулись со страданием, физически прикоснулись к этому отчаянию, отчаянию ребенка, самому худшему из всех переживаний, наименее поддающемуся анализу и не имеющему никаких преград вроде рассудка, интересов, честолюбия... Старший брат не спускал глаз с растратчика, а мать встала. Она подошла к Жозе, взяла его голову обеими руками, как бы желая разбудить его,

вывести из гипнотического сна.

— Жозе, посмотри на меня.

Она говорила повелительным тоном, а он по-детски тряс головой, закрывая глаза, пытался высвободиться. Бланш читала незнакомую ей историю любовной болезни на потемневшем лице сына. Он, конечно же, поправится! Это не продлится долго... только надо добраться до другого берега и не погибнуть в пути. Она всегда за него боялась, за этого мальчика: когда он был маленьким, она никогда не знала, чего от него ожидать. Если бы он хотя бы что-нибудь сказал, если бы пожаловался... Так ведь нет, он сидел, сжав челюсти и обратив к ней прокаленное солнцем лицо мальчишки из ландов... (может быть, какую-нибудь из ее прародительниц соблазнил один из каталонцев, торговавших контрабандными спичками). Глаза его горели, но горели темным светом: в них нельзя было ничего прочитать.

Тогда Жан-Луи, приблизившись, тоже схватил его за плечи и несильно встряхнул. Он повторил несколько раз: «Старина Жозе, мой дорогой малыш...» — и вдруг добился того, чего никак не удавалось матери: заставил его расплакаться. Просто к материнской ласке Жозе привык и никак не отозвался на нее. А вот Жан-Луи никогда

не был с ним нежен. Это оказалось настолько неожиданным для него, что он, скорее всего, заплакал от удивления. У него из глаз брызнули слезы, и он вцепился в брата, как утопающий. Госпожа Фронтенак инстинктивно отвела глаза в сторону и вернулась к камину. Она слышала лепет, всхлипывания; склонившись к огню, она прижимала руки ко рту.

Братья подошли к ней:

— Он будет хорошо себя вести, мама, он мне пообещал.

Она притянула к себе несчастного ребенка, чтобы его поцеловать.

— Милый мой, у тебя больше никогда не будет такого выражения лица?

Один раз у него все-таки будет подобное выражение, несколько лет спустя, в конце августа 1915 года, в Мурмелоне, между двумя рядами палаток. Никто тогда не обратит на это внимания, даже его товарищ, который в этот момент будет заверять его: «Похоже, что артподготовка будет такая, что сметет все на нашем пути: нам не нужно будет даже снимать винтовку с плеча; пойдем вперед, руки в брюки...» Жозе Фронтенак посмотрит на него с тем же выражением: в глазах ни капли надежды, но в тот день это уже никого не испугает.

XIV

Жан-Луи поторопился вернуться домой; его дом находился в двух шагах, на улице Лафори де Монбадон. Ему не терпелось еще до ужина рассказать все Мадлен. У Ива вызвал отвращение этот особняк, обживавшийся с такой любовью. «Ты же не начинающий дантист и не молодой врач, — сказал он ему, — чтобы уставлять камины, увешивать стены и даже колонны этими мерзкими подарками, которыми вас завалили гости».

Жан-Луи стал было возражать, но вдруг на самом деле убедился в правоте брата и отныне глядел глазами Ива на всех этих пряничных амурчиков, бронзовые безделушки и австрийские терракотовые статуэтки.

— У малышки температура, — сказала Мадлен.

Она сидела рядом с колыбелью. Переселившись в город, эта сельская девушка располнела. Широкоплечая, с толстой шеей, она больше не выглядела юной. Может быть, она опять забеременела? На груди вздулась толстая голубая вена.

— Сколько?

— Тридцать семь и пять. И ее стошнило, когда она поела в четыре часа.

— Температура субфебрильная? Тогда это нормально, особенно вечером.

— Нет, повышенная, и доктор Шатар подтвердил это.

— Да нет же, он имел в виду температуру, измеренную под мышкой.

— А я говорю тебе, что это повышенная температура. Не очень высокая, конечно. Но все равно повышенная.

Он раздраженно махнул рукой, наклонился над колыбелью, пахнувшей овсяной кашей и молоком, которым ее стошнило. Когда он поцеловал девочку, она заплакала.

— Ты колешь ее щетиной.

— Неправда, подбородок у меня гладкий, как персик, — возразил он.

Он походил немного по комнате, надеясь, что жена спросит его про Жозе. Однако она никогда сама не задавала вопросов, как бы ему этого ни хотелось. Он должен был бы уже понять это, а все продолжал надеяться.

Она сказала:

— Садись ужинать без меня.

— Из-за малышки?

— Да, я хочу дождаться, пока она заснет.

Он был раздосадован: на ужин было суфле с

сыром, которое нужно есть сразу, как только его вытаскивают из печки. Но, должно быть, Мадлен об этом вспомнила — как-никак она была воспитана в культе домашних сельских трапез и в уважении к еде, — поэтому не успел Жан-Луи развернуть салфетку, как она уже сидела на своем месте. «Нет, — подумал Жан-Луи, — она не спросит, бесполезно даже ждать».

— Так что же ты не спрашиваешь, милая?

— О чем?

— Жозе, — начал он, — это была целая история! Дюссоль и дядя Альфред не решились настоять на Виннипеге... Он поедет в Норвегию.

— Ну, это не наказание... Там, скорее всего, можно будет охотиться на уток, а ему больше ничего и не надо.

— Ты думаешь? Если бы ты его видела... Он же любил ее, — добавил Жан-Луи и густо покраснел.

— Эту девицу?

— Не надо смеяться... — И он повторил: — Если бы ты его видела!

Мадлен с хитрым, понимающим видом пожала плечами и положила себе на тарелку вторую порцию. Она была не из Фронтенаков, зачем настаивать? Все равно не поймет. Она же не из рода Фронтенаков. Он попытался вспомнить вы-

ражение лица Жозе, слова, которые он бормотал. Неведомая страсть...

— Приходила Даниэль, мы с ней выпили чаю и мило поболтали. Она принесла мне выкройку детской распашонки, ты помнишь, о которой я тебе говорила, с длинными рукавами.

Разумный Жан-Луи с удивлением подумал, что завидует этому смертельному безумию, во власти которого оказался брат. Испытывая отвращение к самому себе, он посмотрел на жену, катавшую в руках хлебный шарик

— И что? — спросил он.

— Да так, ничего... я ничего не говорила, зачем? Ты не слушаешь и никогда не отвечаешь на мои вопросы.

— Ты сказала, что приходила Даниэль?

— Ты никому не скажешь? Это строго между нами, разумеется. Мне кажется, ее мужу осточертело жить под одной крышей с твоей матерью. Как только получит прибавку к заработку, он намерен переехать в другое место.

— Они не сделают этого. Мама ведь купила дом и для них тоже; они не платят за квартиру.

— Вот это-то их и удерживает... Но с ней так утомительно жить... Ты же сам признаешь. Ты раз сто повторял мне...

— В самом деле? Хотя вполне возможно, что действительно говорил.

— А, кстати, Мари останется; у нее муж более терпеливый, а главное, он больше думает о своей выгоде. Он никогда не откажется от преимущества, которое там имеет.

Жан-Луи представил себе мать в невыигрышной роли старой квартирантки, которую дети отсылают из одного дома в другой. Мадлен настаивала:

— Я-то ее люблю, и она меня тоже обожает. Но в то же время я знаю, что не смогла бы с ней жить. О! Нет! Только не это...

— А вот она смогла бы жить с тобой.

Мадлен обеспокоенно посмотрела на мужа:

— Ты не сердишься? Это не мешает мне любить ее, тут дело просто в характере.

Он встал и подошел поцеловать жену, чтобы она простила его за возникшие у него мысли. В тот момент, когда они выходили из-за стола, слуга принес два письма. Жан-Луи узнал на одном из конвертов почерк Ива и положил его в карман, а затем попросил у Мадлен разрешения вскрыть другое.

«Господин и наш дорогой благодетель,

я пишу Вам это письмо, чтобы сообщить, что в четверг, в три часа у нашей малышки будет первое причастие, она знает уже все молитвы, и когда мы с ее отцом видим, как она молится утром и вечером, то нас это очень умиляет, но в то же время мы немного обеспокоены, потому как мы же знаем, что там, где праздник, там и расходы, хотя это и ради Господа нашего, особенно когда мы и без того в разных мелких долгах как в шелках. Но как я говорю своему мужу, ведь не оставит же тебя наш благодетель в затруднительном положении, тебя, сохранившего акции, вместо того чтобы их продать, а потом пропить, как сделали все остальные, особенно некоторые, которые не протрезвлялись целый месяц после распределения акций, что за них прямо было стыдно, а тех, кто понял вашу благородную мысль, обзывают штрейкбрехерами и подлизами и вообще всеми теми именами, которые уважение и законы вежливости не позволяют мне запечатлеть на этой бумаге. Но как говорит мой муж: когда имеешь такого хозяина, то нужно уметь

быть достойным его через понимание его инициатив в пользу рабочего...»

Жан-Луи порвал письмо и несколько раз провел по носу и по губам.

— Не забывай про свой тик, — сказала, заметив это, Мадлен и добавила: — Я страшно хочу спать. Боже мой! А ведь сейчас еще только девять часов... Ты не слишком поздно ляжешь? И разденешься в туалетной комнате?

Жан-Луи любил свою библиотеку: критика Ива к ней не относилась. Там не было ничего, кроме книг, и даже камин был заставлен ими. Он осторожно закрыл дверь, сел за стол, взвесил в руке письмо брата, радуясь тому, что оно было тяжелее, чем обычно. Он аккуратно вскрыл его, не повредив конверта. Как настоящий Фронтенак, Ив сообщил сначала новости, касавшиеся дяди Ксавье, с которым он обычно по четвергам обедал. Бедный дядя Ксавье, которого намерение племянника поселиться в Париже привело в ужас, сделал все, чтобы отговорить Ива. Фронтенаки притворялись, что им неизвестна причина подобного сопротивления. «*Он успокоился,* — писал Ив, — *теперь он уже понял, что Париж достаточно велик, чтобы племянник никогда не столкнулся со своим дядей, гуляющим с любовницей... Ну так*

вот, я все же с ними столкнулся! Я заметил их однажды на бульварах и даже немного последил за ними. Это светловолосая дылда, которая лет двадцать назад, вероятно, была ничего себе. Поверишь ли, они вошли в закусочную Дюваля! Себе он, скорее всего, купил сигару не дороже трех су. Меня же он всегда приглашает к Прюнье и после десерта предлагает сигару „Бок“ или „Генри Клей“. Все дело в том, что я Фронтенак... Представь себе, я встречался с Барресом[15]*...*» Далее шло подробное описание этого визита. Накануне один его приятель передал ему высказывание мэтра: «*Какая жалость! Мне нужно подать этому юному Фронтенаку какую-нибудь соответствующую его темпераменту идею...*» Это не охладило Ива. «*Я был не так запуган, как этот великий человек, но почти так же. Мы вышли из дома вместе. На улице любитель душ немного оттаял. Он сказал мне... сейчас мне не хотелось бы упустить ни одного из сказанных им драгоценных слов, он сказал мне...*»

Нет, Жана-Луи интересовало не то, что сказал ему Баррес... Он быстро пробежал глазами пись-

[15] Примечания: 15

Баррес Морис (1862-1923) — французский писатель и политический деятель, книги которого отличались мистическим самоанализом, шовинистическими и расистскими идеями.

мо, чтобы наконец добраться до того места, где Ив начнет говорить о своей жизни в Париже, о своей работе, о своих надеждах, о мужчинах и женщинах, с которыми встречается. Жан-Луи перевернул страницу. Ив тщательно вымарал все строчки на ней, равно как на обороте и на следующем листке. Он не только перечеркнул страницы, но и замазал буквально все слова каракулями, завитушки которых находили одна на другую. Возможно, под этими неистовыми каракулями покоились тайны младшего брата. Жан-Луи подумал о том, что, наверно, есть специалисты, которые смогли бы расшифровать. Но ведь не отдашь же письмо Ива в чужие руки. Жан-Луи вспомнил про лупу, которая давно уже лежала на столе (еще один свадебный подарок!), и принялся изучать каждое зачеркнутое слово с такой страстью, словно от решения этой задачи зависела судьба Франции. Однако лупа помогла ему лишь понять, какими средствами воспользовался Ив, чтобы сбить с толку дешифровщика: он не только соединил слова случайными буквами, но и наставил повсюду прямых черточек. После часа бесплодных усилий старший брат добился лишь самых незначительных результатов, но, во всяком случае, старания, которые Ив предпринял,

чтобы вымарать собственный текст, говорили о его важности. Жан-Луи положил руки на стол и в ночной тишине услышал голоса двух громко о чем-то споривших мужчин. Прозвенел последний трамвай на проспекте Бальгери. Молодой человек сидел, устало глядя на таинственное письмо. А что, если взять автомобиль? Проведя в пути всю ночь, он часам к двенадцати был бы уже у брата... Увы! Он мог бы уехать вот так, один, только по каким-нибудь делам. А таковых в данный момент у него не было. Ему случалось мотаться в Париж раз в пять дней ради нескольких тысяч франков; однако тут речь шла лишь о спасении брата — никто бы его не понял. Спасать его от чего?

Эти взятые обратно признания без сомнения разочаровали бы Жана-Луи. Ив зачеркнул их не столько по стыдливости, сколько по скромности. «Разве это ему будет интересно? — сказал он себе. — А к тому же он там все равно ничего не поймет...» В последнем суждении Ива не было никакого презрения. Просто на расстоянии родственники представлялись ему слишком простыми и слишком чистыми. Люди, среди которых он вращался в Париже, казались ему принадлежащими к странной породе, с которой

его род — род сельских жителей — тщетно пытался бы установить хоть какой-нибудь контакт. «*Ты даже не понял бы, что они говорят,* — писал он (не подозревая, что он зачеркнет все, даже еще не закончив письма), — *настолько быстро они говорят, притом всегда с намеками на людей, чьи имена и сексуальные привычки непременно должны быть тебе известны. С ними я всегда опаздываю на две-три фразы и смеюсь через пять минут после того, как другие уже отсмеялись. Но поскольку меня держат за своего рода гения, то эта медлительность является одной из составляющих моего „я“, и они даже ставят мне ее в заслугу. Кстати, большинство из них даже не читали меня, а только делают вид, что читали. Они любят меня как такового, а не потому, что я что-то написал. Милый мой старина Жан-Луи, в Бордо мы и не подозревали, что даже наш юный возраст может казаться кому-то сокровищем. В нашей среде молодость непопулярна: это неблагодарный возраст, возраст набивать себе шишки, пора прыщей, фурункулов, влажных ладоней и прочих неприятностей. А здесь люди смотрят на возраст по-другому. Здесь нет места фурункулам, за один день ты превращаешься в дитя Севера. Иногда какая-нибудь дама, которая гово-*

рит, что она без ума от твоей поэзии, желает слушать ее из твоих уст, и ты видишь, как ее грудь вздымается и опускается с такой силой, что ее хватило бы для поддержания огня в горне кузницы. В этом году все двери распахнуты перед моей „чудесной молодостью“, причем двери обычно очень закрытых салонов. Но, вместе с тем, литература — тоже всего лишь предлог. Никто, в сущности, не любит того, что я делаю, они в этом ничего не понимают. Они любят не это; „они любят людей“, как они говорят; я — человек, а ты, сам о том не догадываясь, — другой человек. К счастью, у этих людоедов и людоедок уже нет зубов, и они едят тебя только глазами. Они не знают, откуда я приехал, им не важно, есть ли у меня мать. Я бы возненавидел их только за то, что никто из них ни разу даже не поинтересовался, как поживает моя мама. Они не знают, что такое Фронтенак. Даже не подозревают величие тайны Фронтенаков. Я мог быть сыном каторжанина, только что сам выйти из тюрьмы, и это ничего бы не изменило, может быть, это даже понравилось бы им... Им довольно того, что мне двадцать лет, что я мою руки и все остальное и что у меня есть определенное литературное положение, объясняющее мое

присутствие в кругу послов и членов Института за их роскошным столом... роскошным, однако вина там, как правило, подают плохо, слишком холодными, в слишком маленьких бокалах. И, как сказала бы мама, некогда ни разжевать, ни проглотить...»

Именно здесь Ив остановился и после некоторого размышления вымарал все до последнего слова, не предполагая, что этим мог совсем сбить с толку старшего брата. А тот вглядывался в эти иероглифы и, пользуясь тем, что его никто не видел, дал волю своему тику: сложенной ладонью он медленно водил по носу, по усам, по губам...

Вложив письмо Ива в свою папку, он посмотрел на часы: должно быть, Мадлен уже беспокоится. Он позволил себе еще десять минут побыть в одиночестве и тишине, взял книгу, раскрыл ее, вновь закрыл. А не делает ли он вид, что любит стихи? Все же время от времени он читал. Ив как-то сказал ему: «Ты совершенно прав, что больше не захламляешь свою память, необходимо забыть все, чем мы имели глупость ее напичкать...» Но то, что говорил Ив... С тех пор, как он стал жить в Париже, никогда нельзя было понять, говорит ли он серьезно или шутит, впрочем, возможно, он и сам этого не знал.

Жан-Луи увидел свет под дверью и понял, что у изголовья кровати горит светильник, это был немой укор; это значило: «Из-за тебя я не сплю; я предпочитаю дождаться тебя, чем быть разбуженной, едва заснув». Тем не менее он разделся, стараясь как можно меньше шуметь, и вошел в комнату.

Она была просторной, и, несмотря на насмешки Ива, Жан-Луи всегда заходил в нее с некоторым волнением. Впрочем, ночь покрывала и растворяла все подарки, бронзовые статуэтки и амуров. Мебель представлялась лишь каким-то размытым монолитом. Колыбелька, прикрепленная к огромной кровати, была похожа на лодочку, казалось, будто одного дыхания ребенка достаточно, чтобы надуть ее прозрачные занавески. Мадлен не дала ему извиниться.

— Я не скучала, — сказала она, — размышляла...

— О чем же?

— Я думала о Жозе, — ответила она.

Он был тронут. Теперь, когда он уже перестал надеяться, она сама заговорила о том, что его больше всего волновало.

— Дорогой, я кое-что придумала относительно него... Подумай, прежде чем сказать «нет»... Се-

силь... да, Сесиль Фило... Она богата, она выросла в деревне и привыкла видеть мужчин, встающих до восхода солнца, чтобы отправиться на охоту, и ложащихся спать в восемь часов. Она знает, что охотника никогда нет дома. Он был бы счастлив. Как-то однажды он сказал мне, что она ему понравилась. «Мне нравятся такие вот женщины в теле...» Он так сказал.

— Он никогда не согласится... И потом, на будущий год его ожидает трехлетняя служба в армии... Он все мечтает о Марокко или о Южном Алжире.

— Да, но если он будет помолвлен, это его удержит. И потом, может быть, папа смог бы сократить срок его службы до одного года, как сыну...

— Мадлен! Прошу тебя!

Она кусала губы. Ребенок вскрикнул, она протянула руку, и колыбелька издала звук, похожий на скрип мельницы. Жан-Луи размышлял о желании Жозе отправиться в Марокко (оно возникло после того, как он прочел книгу Психариса[16])... Следовало ли удержать его или толкнуть на этот путь?

---

[16] Примечания: 16

Психарис Яннис (1854-1929) — греческий писатель и языковед, боровшийся за широкое утверждение в литературе «народного» греческого языка.

Внезапно Жан-Луи произнес:

— Женить его... а это неплохая идея!

Он думал о Жозе, но и об Иве тоже. Именно в этой теплой комнате, где пахло молоком, с ее обоями, обитыми креслами, в этом маленьком кричащем существе, этой молодой и плодовитой грузной женщине — вот в чем могут найти прибежище дети семьи Фронтенак, вылетевшие из родного гнезда и больше не охраняемые соснами летних каникул, не укрываемые ими от жизни в душном парке. Их, изгнанных из рая детства, удаленных от любимых ими лугов, прохладной ольхи, родников среди мощных папоротников, необходимо окружить обоями, мебелью, колыбельками, нужно, чтобы каждый из них рыл свою нору...

Все тот же Жан-Луи, который так стремился защитить своих братьев и найти им укрытие, каждое утро в преддверии ожидаемой войны выполнял физические упражнения, чтобы развить свою мускулатуру. Он беспокоился, сможет ли он вступить во вспомогательные войска. Никто бы не смог отдать свою жизнь легче его. Однако в семье Фронтенак все происходило так, точно братская и материнская любовь были неразрывно связаны или словно и у той и у другой был

единый источник. Забота Жана-Луи о своих младших братьях и сестрах, и даже о Жозе, которого так манило в Африку, забота, полная волнения и тревоги, была сродни заботе их матери. Особенно в этот вечер: немое отчаяние Жозе, молчание, вылившееся в бурное выражение чувств, взволновали его; однако, пожалуй, меньше, чем перечеркнутые страницы Ива, вместе с тем письмо попрошайки-работницы, похожее на многие из полученных им прежде, задело его глубже всего, разбередило рану. Он еще не вполне смирился с тем, что надо относиться к людям так, как они того заслуживают. Их наивное подхалимство его раздражало, и особенную боль ему доставляли их неуклюжие попытки изобразить религиозность. Он помнил того восемнадцатилетнего парня, который попросил быть ему крестным отцом, которого он самолично и с такой любовью наставлял... А несколько дней спустя ему стало известно, что его крестник уже был крещен протестантами, таким образом, деньги, которые предназначались для крестин, он оставил себе. Наверняка Жан-Луи знал, что то был особенный случай и что чистые души не лгут; его неудача или, скорее, просчет в области психологии, некая неспособность давать людям верную оценку, все-

гда обрекали его на подобного рода злоключения. Его застенчивость, проявлявшаяся в отсутствии гибкости, отдаляла от него простых людей, но не отпугивала ни льстецов, ни лицемеров.

Лежа на спине, он смотрел в потолок, мягко освещенный лампой, и чувствовал свою абсолютную неспособность изменить что-либо в чужой судьбе. Его братья, вероятно, осуществят в этом бренном мире то, зачем они сюда явились, и любые повороты непременно приведут их туда, где их ждут или кто-то их подстерегает...

— Мадлен, — спросил он вдруг вполголоса, — веришь ли ты, что возможно что-то сделать для других?

Она повернула к нему свое полусонное лицо, убрала волосы.

— Что? — спросила она.

— Я хочу сказать, считаешь ли ты, что после многочисленных усилий можно было бы изменить, пусть хоть чуть-чуть, судьбу какого-то человека?

— О! Ты только об этом и думаешь, изменить других, поставить их на другое место, внушить им идеи, отличные от тех, которые они имеют...

— Возможно, — он рассуждал сам с собой, — я только укрепляю их в их пристрастиях; когда я

полагаю, что сдерживаю их, они собирают все свои силы для того, чтобы рвануть в своем направлении, противоположном от того, которого хотелось бы мне...

Она подавила зевок:

— Ну и что из этого, дорогой?

— Если верить Сене, эти грустные и нежные слова Иисуса, обращенные к Иуде, похоже, подталкивают его к двери, заставляют поскорее выйти...

— Тебе известно, который сейчас час? Уже за полночь... Завтра утром ты не сможешь встать.

Она потушила лампу, а он лежал в полумраке, словно на дне моря, ощущая на себе всю его невероятную тяжесть. Его подхватил вихрь тревоги и одиночества. Вдруг он вспомнил, что забыл прочесть свою вечернюю молитву. Тогда этот взрослый мужчина сделал в точности то же самое, что сделал бы, если бы ему было десять лет: он тихо встал с постели и опустился на колени на коврик перед кроватью, зарывшись головой в простыни. Ни единый вздох не нарушал тишины, ничто не указывало на то, что в комнате спали женщина и маленький ребенок. Воздух был тяжелый, наполненный различными запахами, поскольку Мадлен, подобно всем деревенским

жителям, опасалась воздуха с улицы; ее мужу пришлось привыкнуть больше не открывать окно по ночам.

Он начал с обращения к Святому Духу: «*Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende...*»[17] Однако, пока его губы произносили эти удивительные слова, он прислушивался лишь к тому спокойствию, которое было ему хорошо знакомо и которое просачивалось из всего его существа, подобно тому, как просачивается сквозь землю вода в истоке реки: да, к спокойствию бурному, захватывающему, покоряющему, похожему на воды родника. И по опыту ему было известно, что не следует допускать ни малейших раздумий, а также поддаваться чувству ложного унижения, которое заставляет говорить: «Это ничего не значит, это поверхностные ощущения...» Нет, не надо ничего говорить, нужно просто принять это ощущение, и никакая тревога не выдержит... Какое все же безумие думать, что очевидный результат наших усилий, каким бы маленьким он ни был, тоже имеет значение... Но действительно имеет значение только это жалкое усилие само по себе,

[17] Примечания: 17

«Приди, Дух Святой, наполни сердца верных твоих и возожги в них огонь любви твоей...» *(лат.).*

чтобы удержаться у руля, чтобы его выправить, — особенно чтобы его выправить... И неведомые, непредсказуемые, немыслимые плоды наших поступков проявятся однажды при свете дня, плоды, выброшенные на свалку, подобранные с земли, плоды, которые мы не осмелимся никому преподнести... Мимоходом он заглянул в глубины своего сознания: да, завтра он сможет причаститься. После этого он расслабился. Он знал, где находился, атмосфера комнаты все еще продолжала влиять на него. Только одна мысль никак не давала ему покоя: мысль о том, что сейчас он уступал гордости, он искал удовольствия... «Но если бы это был Ты, Господь мой...»

Деревенская тишина опустилась и на город. Жан-Луи внимательно прислушивался к тиканью часов, в полумраке он различал приподнятое плечо Мадлен. Ничто не ускользало от его внимания, но ничто и не отвлекало от мыслей о главном. Некоторые вопросы проносились в его сознании, но, найдя ответы, исчезали прочь. Например, он понял в некий момент озарения, на примере Мадлен, что женщины несут в себе гораздо более богатый, по сравнению с мужчинами, мир чувств, однако они лишены дара его выразить: очевидная неполноценность. То же самое

происходит и с народом. Бедность его словарного запаса... Жан-Луи ощутил, что он постепенно отходит от отвлеченных идей в область более приземленную, он более не витает в облаках, он шагает по отмели, удаляется от своей любви. Он перекрестился, скользнул в постель и закрыл глаза. Едва ли он услышал сирену над рекой. Первые тележки зеленщиков не нарушили его сна.

XV

Юноша, сидевший за рулем, не сбавляя бешеной скорости, обернулся и прокричал:

— Будем останавливаться в Бордо перекусить?

Англичанин, по обе стороны от которого сидели две молодые женщины, спросил:

— В «Лакомую курочку», не так ли?

Молодой человек за рулем бросил на него мрачный взгляд. Ив Фронтенак на своем переднем сиденье взмолился:

— Жео, смотри, куда едешь... Осторожно, там ребенок...

Каким безумием было сесть в машину вместе с этими незнакомцами! Три дня назад он обедал в Париже, у американки, имени которой он никак не мог запомнить, да вряд ли сумел бы и правильно выговорить. Он «блистал» как никогда (в обществе было принято считать его неподражаемым, хотя порой он бывал скучнейшим сотрапезником), «Вам повезло, — сказал Жео, который восхищался Ивом и привел его к этой даме, — вас посетит очаровательный Фронтенак»... «Помери» создало между этими едва знакомыми друг с другом людьми атмосферу нежности.

Дама на следующее утро должна была уезжать в Гетари. Всего на три дня... Она предложила взять их всех с собой: расставаться было невыносимо, отныне они должны были повсюду следовать друг за другом. Июньская ночь была жаркой, но, к счастью, никто из мужчин не был в смокинге. Оставалось лишь подогнать машину и тронуться в путь. Предполагалось, что машину поведет Жео. Приехав на место, все рассчитывали окунуться...

В Бордо Ив застал свою мать врасплох, после завтрака та была одна; при виде сына, которого никак не ожидала, она побледнела. Ив расцеловал ее пепельно-серые щеки. Окно гостиной в стиле ампир было открыто и выходило на шумную улицу, с которой доносились резкие запахи. Он сообщил, что может уделить ей всего лишь полчаса, поскольку его друзьям не терпелось поскорее добраться до Гетари. На обратном пути в Бордо останавливаться они не собирались, но это совершенно неважно, потому что через три недели он планирует приехать к матери и провести с ней целый месяц. (На самом деле ее дочери с семьями сняли виллу на берегу моря, где для госпожи Фронтенак места не было.) Она решила дожидаться Ива не в удушливых ландах Буриде, а в Респиде, на холмистых берегах Гаронны: «В

Респиде всегда такой воздух», — эта фраза была в семье Фронтенак догматом веры. Она рассказала о Жозе; он находился в Рабате и уверял, что не подвергается никакому риску, тем не менее она боялась; по ночам просыпалась в тревоге...

Через четверть часа Ив поцеловал ее, она проводила его до площадки: «Они по крайней мере хоть осторожны? Вы не мчитесь, как сумасшедшие? Я очень переживаю, когда знаю, что ты в пути. Дай мне телеграмму сегодня вечером»...

Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, но все же невольно взглянул наверх. Бланш Фронтенак перегнулась через перила. Он увидел над собой ее страдальческое лицо. Он прокричал:

— Увидимся через три недели!..

— Да, будьте осторожны...

Сегодня Ив опять оказался проездом в Бордо. Он хотел бы вновь удивить мать, но, будучи в своем родном городе, невозможно было не угостить этих людей в «Лакомой курочке»; они решили бы, что он старается увильнуть... Да к тому же Жео желал во что бы то ни стало уже к вечеру вернуться в Париж. Он был вне себя от бешенства, потому что молодой англичанин сидел рядом с его дамой и он не мог слышать, о чем они говорят; правда,

он видел в ветровом стекле их склонившиеся друг к другу головы. До Ива доносились его не вселяющие особенного оптимизма слова: «Мне наплевать, пусть я разобью себе лицо, но заодно и им достанется...» А Ив отвечал: «Поосторожнее на повороте...»

Он рассчитывал, что ему удастся улизнуть в конце обеда, но пришлось дожидаться счета. Жео пил, не произнося ни слова, посматривал на часы. «Мы будем в Париже еще до семи...» До тех пор он не сможет вздохнуть с облегчением; пытка для него закончится только в Париже, когда он окажется с дамой наедине в четырех стенах, потребует, чтобы она не виделась больше с другим, заставит ее сделать выбор... Не дожидаясь, когда Ив заплатит по счету, он уже оказался в машине. Ив мог бы сказать: «Разрешите мне отлучиться на пятнадцать минут...» или же: «Поезжайте без меня, я доберусь поездом...» Но ему это даже в голову не пришло. Он думал лишь о том, как справиться с внутренней потребностью, подталкивавшей его к тому, чтобы побежать и обнять мать. Он твердил себе: «Не стоит морочить им голову ради пятиминутного свидания, через каких-нибудь три недели мы будем вместе. У меня даже не хватит времени обнять ее...» Он никогда не простит

себе, что пренебрег несколькими секундами, когда ему следовало прижаться губами к ее еще живому лицу, и в глубине подсознания он все понимал, ведь нам всегда дается предупреждение... Он услышал, как Жео обращается к нему, пока дамы были в гардеробной:

— Ив, умоляю тебя, сядь на заднее сиденье. Тогда англичанин окажется рядом со мной, и мне будет спокойнее.

Ив ответил, что ему тоже так будет спокойнее. Машина тронулась с места. Ив сидел, словно начинка в бутерброде, между двумя дамами, одна из которых спрашивала другую:

— Как? Вы не читали «Топи»? Это уморительно... Да, да, Андре Жида.

— Мне эта книга не показалась забавной, теперь я припоминаю, что читала ее, но что в ней забавного?

— Мне лично она кажется уморительной...

— Да, но что все-таки в ней забавного?

— Фронтенак, объясните ей...

Он нахально ответил:

— Я не читал.

— Не читали «Топей»? — воскликнула изумленная дама.

— Да, не читал «Топей».

Он вспоминал, как спускался по лестнице три дня назад, мать, перегнувшуюся через перила. «Я увижу ее через две недели», — твердил он сам себе. Она никогда не узнает о том, какую ошибку он совершил, проезжая через Бордо и не обняв ее. Именно в эту минуту он осознал, насколько сильно любит ее, он не ощущал этого с такой силой с тех самых пор, как вышел из младшего школьного возраста, когда после каникул, в первый день школьных занятий, рыдал при мысли о том, что будет разлучен с ней ежедневно до самого вечера. А дамы поверх его головы переговаривались о ком-то, о ком он не имел ни малейшего представления.

— Он умолял меня достать ему приглашение к Мари-Констанс. Я ответила ему, что недостаточно хорошо с ней знакома. Он настаивал на том, чтобы я достала приглашение при посредничестве Розы де Кандаль. Я ответила, что не хотела бы получить отказ прямо в лицо. После этого, можете верить мне, моя дорогая, или не верить, но он разрыдался, говоря, что речь идет о его будущем, о его репутации, о его жизни; что, если его не увидят на этом балу, ему не останется ничего, кроме как исчезнуть. Я имела неосторожность заметить ему, что речь идет об очень закрытом

доме. «Очень закрытом? — завопил он. — Дом, в котором принимают вас, называется очень закрытым?!»

— Вы знаете, дорогая, для него это и в самом деле трагично: он всем успел разболтать, что его тоже пригласили. Как-то раз, у Эрнесты, я отлично позабавилась: ради того, чтобы увидеть выражение его лица, спросила, в каком костюме он придет. «Работорговца», — ответил он. Какова наглость! Через три дня мы с Эрнестой сговорились и задали ему тот же самый вопрос, он ответил, что не уверен в том, что придет, якобы подобные вещи ему больше не интересны...

— Для меня, видевшей его в слезах, это уж чересчур!

— Причем заметьте... он осмелился намекнуть, что Мари-Констанс теперь принимает невесть кого... И теперь, после всего, что вы мне рассказали, я могу вам признаться: он назвал вас, моя дорогая...

— Надо признать, он довольно опасен...

— Он может породить некоторые нежелательные веяния. Человек, который с такой легкостью поносит людей, да при этом если он каждый божий день обедает, полдничает и ужинает в свете, особенно опасен: он откладывает яйца в самые

уютные местечки... а когда яйца лопаются, когда маленькая гадюка вьется по скатерти, уже невозможно предугадать, к чему это может привести...

— Тем не менее, а что, если я сегодня вечером позвоню Мари-Констанс? Я взяла для нее ложу за тысячу франков...

— Чего бы только он ни сделал для вас, если бы вы достали ему это приглашение!

— О! Я у него ничего не прошу.

— И все же вы бы попросили...

— Ну и упрямая же вы, дорогая... Нет, вы правда так думаете?

— Я не вполне уверена... в общем, это такая ситуация, которую я бы назвала «ни нашим ни вашим».

— Ну, скорее вашим, чем нашим...

— Нет, какая же она все-таки смешная! Вы слышали, что она говорит, а, Фронтенак?

Что же успела сказать ему мать за те пять минут? Она сказала: «В Респиде фруктов у нас будет сколько угодно...» Его обтекал выплескивавшийся из накрашенных ртов двух женщин поток злословия, в который Ив с легкостью мог бы окунуться, но вся эта грязь оседала где-то на поверхности его сознания, а в его глубине в эту самую минуту звучал голос матери, говорившей

ему: «В этом году фруктов у нас будет сколько угодно...», и он видел ее нависшее над ним лицо, глаза, следившие за тем, как он спускается по лестнице, пока это только было возможно. Ее бледное лицо... У него в голове промелькнуло: «Бледность сердечников...» Это было похоже на вспышку молнии, но, прежде чем ему удалось осознать предвестие, оно исчезло.

— Все, что захотите... но какая же она идиотка! Когда человек так назойлив, никто с ним не уживается. Послушайте, если она рассчитывала, что сможет зацепить таким образом другого, нет ничего удивительного, что ей это не удалось! Я лично думаю, что неплохо уже то, что Альберто терпел ее в течение двух лет. Даже учитывая, что он изменял ей направо и налево, я не могу понять, как ему хватало на это терпения... А вам известно, что она гораздо менее богата, чем хочет казаться?

— Когда она говорит о том, что собирается покончить с собой, уверяю вас, это весьма впечатляющее зрелище... Мне лично кажется, что все это плохо кончится.

— Не обращайте внимания, вот увидите, что она покалечится ровно настолько, чтобы выставить своего мужа отвратительным в глазах

общества. И в конце концов она по-прежнему останется у нас на руках, вот увидите! Тем не менее его все же надо пригласить, и все уверены, что уж она-то по-прежнему свободна!

Ив размышлял о терзаниях своей матери, о нехватке милосердия. «Мне необходимо причаститься», — говаривала она, когда ей случалось рассердиться на Бюрта. Доброта Жана-Луи... его неспособность видеть зло. Как же Ив заставлял его страдать, когда насмехался над Дюссолем! Этот мир, мир, с которым сегодня так сильно диссонировал младший из Фронтенаков... Доброта Жана-Луи, по мнению Ива, уравновешивала жестокость окружающего мира. Он не утратил веры в доброту благодаря своей матери и Жану-Луи. «Я посылаю вас, как агнцев в стаю волков...»[18] Его мысленному взору предстали мрачные толпы, среди которых мерцали белые головные уборы, покрывала... Он тоже был создан для этой доброты. Он поехал бы в Респид, вдвоем со своей матерью; три недели отделяли его от этого знойного лета, полного фруктов. Он постарался бы не доставлять ей никаких хлопот, он ничем бы ее не огорчил. На этот раз он сумел бы справиться

---

[18] Примечания: 18
Евангелие от Луки, 10:3.

со своей раздражительностью. Он обещал себе, что в первый же вечер попросит ее читать вместе молитвы; она не поверит своим ушам; он станет наслаждаться той радостью, которую это доставит ей. Он излил бы ей свою душу... Рассказал бы, например, то, что произошло с ним в мае в одном ночном клубе... Ничего не поделаешь, ей придется узнать, что он бывает в «таких местах». Он сказал бы ей: «Я выпил немного шампанского, после него меня стало клонить в сон, было уже поздно, какая-то женщина, стоя на столе, пела песню, я рассеянно слушал ее и то, как люди вокруг подпевали припев, это была солдатская песня, и все ее знали. И тут в последнем куплете прозвучало имя Христа среди каких-то пошлостей. В этот момент, — Ив представлял себе, как мать увлеченно слушает его... — в этот момент я ощутил боль, почти физическую боль, как будто это богохульство поразило меня прямо в грудь». Она, наверное, встанет, поцелует его и скажет что-нибудь вроде: «Вот видишь, мой дорогой, какая благодать...» Он представлял себе ночь, августовское небо, многочисленных насекомых, запах отавы в невидимых лучах.

В последующие дни он успокоился. Его жизнь потекла еще более легкомысленно, чем когда бы

то ни было раньше. Это было время, когда перед закатом лета отдыхающие начинают есть в два раза больше; время, когда любящие страдают от предстоящего неминуемого расставания, а те, кого любят, вздыхают наконец свободнее; время, когда чахлые парижские каштаны видят, как на рассвете возле машин прощаются и никак не могут распроститься разодетые мужчины и дрожащие женщины.

Случилось так, что в один из подобных вечеров Ив остался дома. Была ли то усталость, болезнь или причиной стали душевные переживания? Как бы то ни было, он сидел один у себя в кабинете и страдал от одиночества так, как страдают в его возрасте: словно от невыносимого зла, от которого необходимо избавиться во что бы то ни стало. Вся его жизнь была построена таким образом, чтобы ни один вечер не оставался незанятым, однако на этот раз в бесперебойном механизме что-то не заладилось. Мы распоряжаемся другими людьми, словно пешками, чтобы не осталась пустой ни единая клетка, однако другие тоже ведут свою тайную игру, подталкивают нас пальцем вперед, устраняют; нас можно уничтожить, отодвинуть в сторону. Голос, в последнюю минуту говорящий по телефону: «Прошу прощения, но

я не смогу прийти...» — всегда принадлежит тому из двоих, кому нет необходимости церемониться, кто может позволить себе что угодно. Если бы планы Ива в тот вечер нарушила не женщина, он бы оделся, вышел из дома, встретился с людьми. Но теперь он сидел неподвижно, не зажигая света, и, по-видимому, он был серьезно задет, рана его кровоточила в темноте.

Зазвонил телефон: необычные короткие и частые звонки. Он услышал какое-то шипение, затем в трубке раздался голос: «С вами говорят из Бордо». Первой мыслью, промелькнувшей у него в голове, была мысль о матери, о несчастье, но времени на переживания у него не оказалось, потому что именно голос матери он и услышал, голос, доносившийся откуда-то издалека, словно из другого мира. Она принадлежала к тому поколению, которое не умело пользоваться телефоном.

— Ив, это ты? Это мама говорит...

— Я очень плохо тебя слышу.

Он понял, что у нее острый приступ ревматизма, что ее отправляют в Дакс, что ее приезд в Респид откладывается на десять дней.

— Но ты можешь приехать ко мне в Дакс... чтобы не терять ни одного дня из тех, что нам

предстоит провести вместе.

Ради этого она и звонила, ради того, чтобы удостовериться. Он ответил, что присоединится к ней, как только она пожелает. Она не расслышала. Он говорил громче, нервничал:

— Да, да, мама. Я приеду в Дакс.

Несчастный голос издалека все твердил свое: «Ты приедешь в Дакс?» Затем все стихло. Ив еще несколько раз попытался наладить связь, но у него ничего не вышло. Он сидел неподвижно; он страдал.

На следующий день он уже об этом забыл. Круговорот жизни закрутил его. Он развлекался, или, скорее, до самого утра сопровождал жаждущую развлечений женщину. Поскольку домой он вернулся на заре, спал он допоздна. Разбудил его звонок в дверь. Решив, что это почтальон с заказными письмами, он приоткрыл дверь и увидел Жана-Луи. Он проводил его в кабинет и раскрыл ставни: по крышам стелился желтый туман. Не глядя на Жана-Луи, он спросил, по делам ли тот приехал в Париж. Ответ прозвучал именно так, как он и ожидал: их мать в последние дни не очень хорошо себя чувствовала, Жан-Луи приехал убедить Ива отправиться к ней как можно скорее. Ив посмотрел на Жана-Луи: тот был одет в

серый костюм и черный галстук в белый горошек. Он спросил брата, почему тот не отправил ему телеграмму или не позвонил.

— Я побоялся, что телеграмма напугает тебя. А по телефону ничего толком не поймешь.

— Да, конечно, но тогда тебе не пришлось бы оставлять маму. Странно, что ты решился оставить ее пусть даже всего на сутки... Зачем ты приехал? Раз ты приехал...

Жан-Луи пристально смотрел на него. Ив, слегка побледнев, не повышая голоса, спросил:

— Она умерла?

Жан-Луи взял его за руку, по-прежнему не сводя с него глаз. Тогда Ив пробормотал, что «он это знал», в то время как его брат торопливо излагал детали произошедшего, о которых Ив даже не успел еще подумать.

— Впервые она пожаловалась на недомогание в понедельник вечером, нет, во вторник...

Продолжая рассказывать, он мысленно удивлялся спокойствию Ива; он был даже разочарован и подумал, что ему совершенно необязательно было совершать эту поездку, а лучше было бы остаться у тела матери, пока оно еще находилось в доме, и не терять ни единой из оставшихся минут. Он не догадывался, что угрызения совести

«законсервировали» боль Ива, подобно тому, как поступает врач с воспалительными процессами. Знала ли его мать, что он второй раз проезжал по Бордо и не пришел обнять ее, оказавшись с ней рядом? Переживала ли она это? Разве не повел он себя чудовищно, когда пренебрег ею? Если бы он тогда, на обратном пути из Гетари, забежал к ней, ничего бы с ним не случилось: ну получил бы он несколько советов, предостережений, ну поцеловала бы она его; она проводила бы его до лестничной площадки, перегнулась бы через перила, стояла бы и смотрела, как он спускается по лестнице, пока он не скрылся бы из вида. Но если он и не увидел ее больше, он по крайней мере услышал ее голос по телефону; он хорошо понимал, о чем она говорила, а вот она, бедняжка, плохо его слышала... Он спросил Жана-Луи, упоминала ли она о нем перед смертью. Нет, не упоминала, она рассчитывала вскоре увидеться со своим «парижанином», поэтому ее мысли больше были заняты Жозе, находившимся в Марокко. Слезы наконец брызнули из глаз Ива и принесли Жану-Луи некоторое облегчение. Сам он, внешне спокойный, как бы отстранился от собственной боли. Он разглядывал комнату, в которой еще царил беспорядок, оставленный накануне, ком-

нату, отдавшую дань модному пристрастию к русским мотивам, что проявилось в цвете дивана и подушек; правда, отметил Жан-Луи, сам обитатель, похоже, оставался равнодушен к подобным изыскам. Жан-Луи на какое-то мгновение предал свою умершую мать ради живого брата — он с головой ушел в разглядывание обстановки, поиски оставленных следов, тайных знаков... На стене висела только одна фотография: Нижинский[19] в «Призраке розы». Жан-Луи поднял глаза и посмотрел на брата, который стоял, прислонившись к камину, — его брат, такой хрупкий в своей голубой пижаме, с растрепанными волосами, плакал, и выражение лица его при этом было точно таким же, как в детстве. Жан-Луи мягко попросил его пойти одеться и, оставшись один, продолжал изучать глазами стены, усыпанный пеплом стол, прожженный коврик на полу.

[19] Примечания: 19

Нижинский Вацлав Фомич (1889-1950) — российский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор танца. Один из ведущих участников Русского балета Дягилева.

XVI

Все то, чем приходская церковь могла снабдить священника и детей из хора, двигалось перед катафалком. Ив, шедший рядом с обоими своими братьями и дядей Ксавье, глубоко ощущал, как нелепы на фоне яркого дня их изможденные лица, их одежда, его шелковая шляпа (Жозе был одет в форму морской пехоты). Ив видел лица людей на тротуаре, эти жадные взгляды женщин. Он не страдал, он ничего не чувствовал, он слышал обрывки фраз, которыми обменивались шедшие следом за ним дядя Альфред и Дюссоль. (Последнему сказали: «Вы ведь тоже член семьи! Вы будете идти сразу же за нами...»)

— Это была женщина с головой, — говорил Дюссоль. — Я не знаю более лестных слов. Я даже рискну сказать: это была деловая женщина. По крайней мере она могла бы стать ею рядом с мужем, который сумел бы ее должным образом развить.

— В делах, — заметил Коссад, — женщина может позволить себе много такого, что для нас недопустимо.

— Послушайте, Коссад, а вы припоминаете, как

она повела себя во время дела Метэри? Ну с Метэри, вы же помните, это когда нотариус сбежал с казенными деньгами? Она потеряла шестьдесят тысяч франков. В полночь она пришла ко мне и стала умолять пойти вместе с ней к госпоже Метэри. Бланш заставила ее подписать признание долга... Это было совсем не глупо. Для этого нужно было иметь голову на плечах... Она на десять лет увязла в судебном процессе, но в конце концов ей было все выплачено сполна, причем самой первой из всех кредиторов. Молодец, не так ли?

— Да, но она часто повторяла нам, что, если бы речь не шла о деньгах ее детей, распорядительницей которых она являлась, у нее никогда не хватило бы смелости...

— Вполне возможно, потому что у нее временами начинались приступы излишней совестливости: это была единственная ее слабость...

Дядя Альфред ханжески возразил, что «это в ней достойно было самого глубокого восхищения». Дюссоль пожал плечами:

— Да ладно, не смешите меня! Я человек честный, когда хотят привести в пример какую-нибудь порядочную фирму, всегда вспоминают нашу... Но ведь мы-то знаем, что такое вести дела. Если бы Бланш занялась ими, да... Она любила

деньги. Она бы не стала краснеть.

— Она предпочитала землю.

— Она любила землю не ради самой земли. По ее мнению, земля представляла собой деньги, точно так же, как и банковские чеки; только земля казалась ей более надежным вложением. Она уверяла меня, что в последние десять лет, не деля года на удачные и неудачные, после вычета всех расходов, ее владения приносили ей четыре с половиной, а то и пять штук.

Иву вспомнилась мать как-то вечером, на перроне, посреди сосен Буриде; он видел, как она идет к нему по окружной аллее парка, держа в руках четки; или вот, в Респиде, на фоне уснувших холмов, она рассказывает ему о Боге. Он пытался припомнить ее слова, которые свидетельствовали бы о ее любви к земле, и те в изобилии всплывали из глубин его памяти. Вот, к примеру, перед смертью, по словам Жана-Луи, она показала на июльское небо, видневшееся через открытое окно, на деревья, облюбованные стаями птиц, и произнесла: «Вот чего мне жаль...»

— Похоже, — говорил Дюссоль, — что последними ее словами, были слова сожаления, обращенные к виноградникам: «Мне жаль этого прекрасного урожая!»

— Нет, мне рассказывали, что она говорила о деревне вообще, о красоте природы...

— Это рассказывают ее сыновья, — Дюссоль понизил голос, — они поняли ее слова по-своему; вы же их знаете... Бедный Жан-Луи! Но мне кажется, это больше похоже на правду: речь шла об урожае, который ей не суждено было собрать, этом винограднике, который она полностью обновила, она оплакивала свое достояние... И никто не сможет переубедить меня. Мы были знакомы в течение сорока лет. У нас был даже такой случай: представьте себе, однажды она жаловалась мне на своих сыновей, а я сказал ей, что она похожа на курицу, которая высидела утят. Она тогда посмеялась над этим...

— Нет, Дюссоль, нет: она гордилась ими, и надо признать, с полным на то основанием.

— Я не спорю. Однако мне смешно слушать, когда Жан-Луи утверждает, что она была неравнодушна к разглагольствованиям Ива. Ведь эта женщина обладала уравновешенным характером, чувством меры. Уж мне-то не надо рассказывать эти байки. Во всех моих спорах с Жаном-Луи по поводу разделения прибылей, заводских советов и всей этой галиматьи я чувствовал, что она на моей стороне. Она волновалась из-за этих

«химер» сына, как она их называла. Она умоляла меня не винить его за это. «Дайте ему время, — говорила она мне, — вы увидите, что он мальчик серьезный...»

Ив уже больше не думал ни о своем смешном одеянии, ни о лакированных туфлях; он больше не рассматривал лица людей на тротуарах. Продвигаясь в этой цепи, между катафалком и Дюссолем (каждое из улавливаемых слов которого помогало ему восстановить неприглядный смысл того, что ему расслышать не удалось), он шел, опустив голову. «Она любила бедных, — думал он, — когда мы были маленькими, она заставляла нас взбираться по грязным лестницам, она заботилась о женщинах легкого поведения, вернувшихся к добропорядочной жизни. Она не могла прочесть без слез ни одного моего стихотворения, имевшего отношение к моему детству...» А голос Дюссоля все не умолкал.

— Посредники были с ней тише воды. Она умела выправлять ведомости, не делая скидок и не платя комиссионных...

— Скажите, Дюссоль, а вы когда-нибудь видели, как она принимала арендаторов? До меня не доходит, как ей удавалось заставлять их платить регулярно...

Ив знал, ему рассказал об этом Жан-Луи, что это была неправда: арендные договора возобновлялись вопреки здравому смыслу и без учета доходов с недвижимости. Тем не менее он не мог уничтожить эту навязываемую ему Дюссолем карикатуру его матери в том образе, в каком она представлялась другим, не сопряженной с тайной семьи Фронтенак. Смерть отдает нас не только на съедение червям, но и на растерзание людям, они гложут память о человеке, они разлагают ее; даже Ив уже не узнавал образа покойной, доставшейся на растерзание Дюссолю, созданный им реальный портрет «продержался» дольше. Эту память нужно было вновь воссоздать внутри себя, стереть темные пятна, Бланш Фронтенак должна была вновь стать тем человеком, каким он знал ее при жизни. Это нужно было сделать, нужно было ему, чтобы выжить, чтобы пережить ее. Какая же она длинная, эта улица Арес, по которой вплоть до самого кладбища через квартал домов терпимости продвигается Семья в вечерних одеждах, в лакированных туфлях, с дикой, преувеличенной торжественностью, а священники, «привыкшие», как говорится, чудовищным образом привыкшие делать свое дело, бормочут величественные церковные тексты!

Голос Дюссоля, перед тем еле слышный, вновь зазвучал громче, так что Ив помимо собственной воли снова начал прислушиваться.

— Нет, Коссад, здесь я с вами не согласен. Я считаю, что тут как раз эта достойная всяческого восхищения женщина дала маху. Нет, она не была хорошей воспитательницей. Заметьте, что я не лишен религиозных чувств, эти господа из церкви всегда при необходимости находят меня, они знают об этом и этим пользуются. Но если бы у меня были сыновья, я сразу, как они прошли причастие, стал бы приучать их к серьезным делам. Бланш недостаточно отдавала себе отчет в том атавизме, который довлел над ее близкими. Я говорю это вовсе не в упрек несчастному Мишелю Фронтенаку...

А поскольку Коссад стал возражать, что Мишель на протяжении всей своей жизни был антиклерикалом, Дюссоль заметил:

— Я имею в виду, что все же он был мечтателем, человеком, который, даже проворачивая сделку, всегда прятал в кармане какую-нибудь книжицу. Этого было достаточно для того, чтобы его осуждать. Если бы я сказал вам, что наткнулся в нашем рабочем кабинете на сборник стихотворений!.. Помню, когда он взял его у меня из рук, он

выглядел весьма смущенным...

— Смущенным? Может быть, речь шла о каких-нибудь фривольных стишках?

— Нет, читать подобные вещи было не в его привычках. А впрочем, может быть, вы и правы... Припоминаю, что это был сборник Бодлера[20]... «Падаль», вы когда-нибудь слышали? Мишель был человеком умным, не стану спорить, но что он представлял собой как деловой человек, я могу судить лучше, чем кто бы то ни было. Счастье для фирмы и для детей семьи Фронтенак, что я был рядом. Религиозная экзальтированность Бланш, разумеется, развила в них эти тенденции; но, между нами говоря, к чему это привело?

Он вновь понизил голос. Ив твердил про себя: «К чему это привело?» Был ли он мужчиной? Да, но не из тех, кого Дюссоль называет мужчинами. А что такое быть мужчиной в понимании Дюссоля? И что могла сделать Бланш Фронтенак, чтобы ее дети выросли не такими, какими они выросли? Жан-Луи в конце концов, как они выражаются, создал собственный очаг. Он очень хорошо вел

---

[20] Примечания: 20

Бодлер Шарль (1821-1867) — французский поэт, критик, эссеист и переводчик; основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы.

дела, имел больше влияния, чем Дюссоль, и его реноме как «социально-ответственного хозяина» было известно во всех слоях общества. Жозе рисковал своей жизнью в Марокко (нет... он почти не покидал Рабат), и Ив... Все же прекрасно знали, что о нем пишут в газете... Так чем же дети семьи Фронтенак отличались от всех остальных? Ив не смог бы этого сформулировать, а вот Дюссоль, чье грузное тело возвышалось у него за спиной, продолжал волновать его своими словами, унижать и даже тревожить.

Ив, стоявший у края свежевырытой могилы, в толпе «настоящих друзей» («Я настоял на том, чтобы проводить ее до самого конца...»), почти ослепший от слез и почти ничего больше не слышавший, все же различил — сквозь заглушавшие все остальное скрежетания гроба о камни и дыхание гробовщиков с лицами бандитов — различил беспощадный и довольный голос Дюссоля:

— Вот уж это была хозяйка так хозяйка!

В знак траура работа в Буриде и Респиде была приостановлена. Быки остались в стойлах и решили, что наступило воскресенье. Мужчины отправились пить в трактиры, пропахшие анисом. Собиралась гроза, и Бюрт подумал, что бедная госпожа огорчилась бы, если бы из-за нее

сено пропало. Юр катил свои воды среди зарослей ольхи. Неподалеку от старого дуба, там, где ограда была сломана, луна играла бликами лежавшего в траве медальона, который Бланш потеряла три года назад, во время пасхальных каникул, а дети долго искали, да так и не смогли найти.

XVII

Наступившей вслед за тем зимой и в течение первых месяцев 1913 года Ив казался более печальным, чем когда бы то ни было. Волосы со лба поредели, щеки ввалились, глаза горели под еще сильнее выдвинувшимися вперед надбровными дугами. Между тем сам он был шокирован тем, что так скоро утешился и что не чувствовал тоски по умершей матери: поскольку он давно не жил с ней, в его повседневной жизни ничего не изменилось, так что проходили недели, а он мог ни разу и не вспомнить о постигшей его утрате.

Но с тех, кого любил, он спрашивал сполна. Эта требовательность, которая никогда не могла обмануть материнскую любовь, теперь переносилась им на те предметы, которые прежде занимали его, волновали и даже заставляли его страдать, но все же не способны были перевернуть его жизнь. Он привык погружаться в любовь своей матери подобно тому, как он входил в лес Буриде, где ни малейшая преграда не разъединяла сосновые боры друг с другом и где, будучи ребенком, он знал, что мог бы идти дни и ночи напролет до самого океана. С тех самых пор

он окунался в каждое любовное переживание с фатальным любопытством, с желанием достичь предела, и каждый раз — с тайной надеждой никогда до него не добраться. Увы, он достигал его почти сразу же, причем закономерность эта практически не давала сбоев, поскольку его мания делала его утомительным и невыносимым. Он без устали демонстрировал своим подружкам, что их любовь — лишь видимость. Он относился к типу тех несчастных юношей, которые непрерывно твердят «Вы меня не любите», желая убедиться в обратном. Однако их слова обладают силой убеждения, в которой они сами не отдают себе отчета; девушке, пытающейся слабо возражать, Ив приводил доказательства, в конце концов убеждавшие ее в том, что она его не любит и никогда не любила.

Весной 1913 года он дошел до такого состояния, что стал воспринимать свое несчастье как физическую боль, от которой с часу на час ждешь избавления, боясь при этом, что не сможешь снести удар. И даже в обществе, стоило предмету его любви оказаться поблизости, он был не способен скрывать свою рану, страдал у всех на виду, оставляя на своем пути кровавые следы.

Ив нисколько не сомневался в том, что одер-

жим навязчивой идеей, и поскольку наедине с самим собой не переставал думать о воображаемых предательствах, то, даже если случалось уличить свою подругу в неверности, он нигде не был абсолютно уверен в том, что не стал жертвой галлюцинации. Когда она клятвенно заверяла его в том, что не ее он видел в машине с тем парнем, с которым она танцевала накануне, он давал себя убедить, хотя был уверен, что узнал ее. «Я сошел с ума», — говорил он и предпочитал думать, что это и в самом деле так, во-первых, чтобы иметь время отдышаться, каким бы кратким ни был этот перерыв в страдании, а во-вторых, он же читал в глазах возлюбленной искреннюю тревогу. «Ты должен мне верить», — говорила она со жгучим желанием утешить его, приободрить. Он не мог устоять перед этими чарами: «Посмотри мне в глаза, теперь ты мне веришь?»

Это вовсе не означало, что она была лучше других, но, должно быть, Ив лишь гораздо поздней осознал, что обладает свойством пробуждать терпеливую нежность в существах, которые, впрочем, причиняли ему немало страданий. Рядом с ним они безотчетно проникались материнской любовью, тепло которой сопровождало его на протяжении многих лет. В августе, задол-

го до наступления вечера, земля, насыщенная солнцем, еще горяча. Точно так же любовь его умершей матери излучала свет вокруг него, трогала даже самые черствые сердца.

Может быть, именно это и помогало ему не умереть под обрушивающимися на него ударами. У него не осталось больше никакой опоры, семья не приходила ему на помощь. Все, что еще уцелело от тайны семьи Фронтенак, напоминало ему обломки колоссального кораблекрушения. В первый раз, когда он посетил Буриде после смерти матери, ему показалось, что он идет во сне, шагает по материализовавшемуся прошлому. Он скорее мечтал об этих соснах, чем видел их. Он вспоминал эти струи, протекавшие украдкой под зарослями ольхи, уже обрезанной, на которой уже появились новые веточки, на месте этих веточек он видел стволы, покрытые плющом, которые отражал Юр во время прошлых каникул. Запах этой мокрой прерии смущал его, потому что сейчас мятой пахло меньше, чем в его воспоминаниях. Этот дом, этот парк становились столь же громоздкими, как и старые зонтики его матери и ее летние шляпы, которые никто не решался раздать и которые нельзя было выбросить (была среди них одна, очень старая, с вышитыми

ласточками). Значительная часть тайны Фронтенаков словно бы была погребена в этой яме, куда положили мать Жана-Луи, Жозе, Ива, Мари и Даниэль Фронтенак. Так что когда порой из этого на три четверти разрушенного мира всплывало какое-нибудь лицо, Ив испытывал тревогу, которая была сродни кошмару.

Так, к примеру, в 1913 году, чудесным летним утром в проеме двери возникла грузная женщина, которую он узнал с первого взгляда, несмотря на то что видел ее всего лишь однажды на улице. Однако Жозефа — а это была она — на протяжении многих лет оставалась в семье Фронтенак излюбленным предметом для шуток. Она была страшно поражена тем, что ее узнали. Каким же образом? Господин Ив догадывался о ее существовании? Так молодые господа все это время знали, что их дядя живет не один? Бедняга доставил себе столько хлопот ради того, чтобы они ничего не обнаружили! Он был бы в отчаянии... Но с другой стороны, может быть, так все даже лучше, он только что перенес у нее в доме два очень серьезных приступа грудной жабы (это и в самом деле серьезно, иначе она не осмелилась бы отправиться к господину Иву). Доктор запретил больному возвращаться к себе. Он, бедняжка,

день и ночь горюет при мысли, что может умереть, так и не обняв своих племянников. Однако, раз уж они знают о связи дяди, ему больше нет нужды прятаться. Необходимо его к этому подготовить, ибо он даже не подозревает о том, что его раскрыли... Она скажет ему, что семья узнала об этом совсем недавно, что она его простила... А так как Ив сухо заявил, что сыновьям семьи Фронтенак нечего прощать человеку, которого они почитают больше, чем кого бы то ни было в мире, толстуха подчеркнула:

— Кроме того, господин Ив, я могу вам в этом признаться, вы уже достаточно взрослый, между нами уже долгие годы ничего нет... представьте себе! Ведь возраст у нас уже порядочный. И потом, я не хотела, чтобы бедняжка, в его-то состоянии, переутомлял себя, вредил себе. Уж я-то точно не стала бы виновницей его смерти. Он со мной словно малое дитя, ну точно как малое дитя. Может быть, я и не тот человек, которому вы поверите... Да нет же, нет, это было бы вполне понятно... Но вы можете спросить обо мне в церковном приходе, эти господа хорошо меня знают...

Со своим жеманством она в точности походила на ту, что дети семьи Фронтенак изображали. На ней было пальто а-ля Шехерезада, с широкими ру-

кавами, узкое снизу и застегивавшееся на уровне живота одной-единственной пуговицей. Глаза, все еще хранившие былую красоту, виднелись из-под шляпы-колокола, которая не скрывала ни широкого курносого носа, ни вульгарного рта, ни скошенного подбородка. Она взволнованно созерцала «господина Ива». Несмотря на то, что она никогда не видела детей Фронтенак, она знала о них со дня рождения, она следила за каждым их шагом, интересовалась их самыми пустяковыми болезнями. Ничто из происходившего в империи Фронтенаков не выпадало из ее поля зрения. Очень высоко над ней существовали эти полубоги, за мельчайшими забавами которых она, по воле необъяснимого провидения, могла наблюдать из глубины пропасти, в которой находилась. И, несмотря на те чудесные выдуманные истории, которыми она себя тешила и в которых частенько представляла, как выходит замуж за Ксавье, как принимает участие в трогательных семейных сценах и Бланш называет ее «сестра моя», а малыши «тетя Жозефа», она тем не менее никогда всерьез не думала ни о том, что их встреча реальна, ни о том, что когда-нибудь она так или иначе должна будет оказаться лицом к лицу с одним из младших Фронтенаков и непринуж-

денно беседовать с ним.

Но сейчас у нее возникло четкое ощущение, что она всегда была знакома с Ивом, и, стоя перед этим хрупким молодым человеком с изможденным лицом, которого видела впервые, она даже подумала: «Как же он похудел!»

— А как господин Жозе? Он по-прежнему доволен своей службой в Марокко? Ваш дядя очень беспокоится, похоже, что там ему жарковато приходится, а газеты кое о чем умалчивают. К счастью, бедняжке госпоже Бланш больше не приходится переживать, она бы вся извелась...

Ив попросил ее присесть, а сам остался стоять. Ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы отвлечься от своих любовных переживаний, чтобы хотя бы сделать вид, что он слушает, что ему интересно. Он повторял про себя: «Дядя Ксавье очень болен, он умрет, после него не останется никого из старых Фронтенаков...» Но он напрасно подстегивал себя. Он не испытывал ничего, кроме страха перед тем, что неминуемо надвигалось на него: приход лета, недель, месяцев разлуки, обремененных грозами, яростными дождями, выжженных палящим солнцем. Все мироздание с небесными светилами и земными бедствиями вставало между ним и его любовью.

Когда он обретет ее наконец, наступит осень, но сначала ему придется одному преодолеть океан огня.

Он должен был провести каникулы рядом с Жаном-Луи. Его мать так страстно желала, чтобы он обрел кров у этого очага, когда ее уже не будет рядом. Возможно, он укрылся бы там, если бы горечь разлуки была взаимной, но «она» была приглашена на яхту, в долгое плавание, и жила в горячке примерок; ее радость выплескивалась наружу, и она даже не думала сдерживаться. Для Ива речь шла уже не о воображаемых подозрениях, о периодически возникающих и проходящих опасениях, речь шла об этой откровенной радости, которая была хуже любого предательства и которую испытывала молодая женщина, расставаясь с ним. Ее пьянило то, что его убивала Она спокойно притворялась нежной, верной и вот в одну секунду разоблачила себя, впрочем, безо всякого коварства, поскольку не хотела бы причинить ему ни малейшего страдания. Она думала, что все может поправить, повторяя ему:

— Для тебя это настоящее счастье, я причиняю тебе столько горя... К октябрю ты исцелишься.

— Но ведь однажды ты сказала мне, что не хочешь, чтобы я выздоравливал.

— Когда это я тебе такое говорила? Не помню!

— Как же так! Это было в январе, во вторник, мы выходили от Фишера, а когда проходили мимо «Уличного точильщика», ты еще посмотрелась в зеркало.

Она потупилась с видом человека, удрученного чужой назойливостью. Сейчас она отрекалась от тех слов, что наполнили Ива нежностью и полагаясь на которые он жил в течение многих недель, которые он повторял вновь и вновь, когда все очарование улетучилось, она отрицала, что когда-либо вообще их произносила... Его ошибка состояла в том, что он развивал до бесконечности даже самые незначительные высказывания этой женщины, придавал им определенный вес, непреложный смысл, тогда как на самом деле они передавали всего лишь мимолетное настроение...

— А ты уверен в том, что я тебе это говорила? Вполне возможно, но я что-то не припоминаю...

Накануне Ив слышал эти ужасные слова в том же самом кабинете, где теперь восседала некая персона, толстая блондинка, которой было жарко, слишком жарко находиться в такой узкой комнатке, хотя окно в ней было открыто. Жозефа удобно уселась и теперь поедала Ива взглядом.

— А господин Жан-Луи! Какой же он молодец! А мадам Жан-Луи, какая она изысканная. Их фотография с грудным ребенком на руках, сделанная Кутенсо, стоит на письменном столе вашего дяди. Какая же прелесть эта девчушка! Нижняя половина ее лица ясно говорит о ее принадлежности к семье Фронтенак. Я частенько повторяю вашему дядюшке: «Она вылитая Фронтенак». Он любит детей, даже совсем маленьких. Когда моя дочь, она вышла замуж в Ниоре за очень серьезного молодого человека, служащего в одной крупной компании (и теперь все держится на нем одном, потому что у его хозяина суставный ревматизм), когда моя дочь привозит своего малыша, ваш дядюшка сажает его к себе на колени, и дочь говорит, что совершенно очевидно, что он привык нянчиться с младенцами...

Она осеклась, внезапно оробев: выражение лица Ива нисколько не смягчилось. Может быть, он принимал ее за интриганку...

— Я хочу, чтобы вы знали, господин Ив... Он выделил мне раз и навсегда небольшой капитал, некоторую мебель... но я ничего не продала, не истратила, не дай бог. Уж кто-кто не в состоянии нанести ни малейшего ущерба семье...

Она произнесла слово «семья» так, словно на

целом свете существовала только одна семья, и Ив с изумлением увидел, как две больших, похожих на линзы слезы, стекают вдоль носа дамы. Он возразил, что Фронтенаки никогда не подозревали ее в непорядочности и что даже были признательны ей за всю ту заботу, которой она щедро оделяла их дядю. Он проявил неосторожность, его слова вызвали неожиданную реакцию: она расчувствовалась, и слезы потекли ручьем.

— Я так люблю его! — бормотала она. — А вы... конечно же, я знала, что была недостойна приближаться к вам, но я вас всех любила, да, вас всех! Я могу так говорить, моя дочь из Ниора иногда даже меня в этом упрекала; она говорила, что я интересовалась больше вами, чем ею, и это правда!

Она поискала у себя в сумочке еще один платок, слезы струились из ее глаз водопадом. В этот момент зазвонил телефон.

— А! Это вы? Да... Поужинать, сегодня вечером? — Подождите, я только взгляну в свой еженедельник...

Ив на секунду отстранил трубку от уха. Жозефа, шмыгая носом, наблюдала за ним, с удивлением замечая, что он не стал смотреть ни в какой еженедельник, а застыл, глядя куда-то перед собой, с

выражением счастья на лице.

— Да, я мог бы освободить сегодняшний вечер. Как это мило с вашей стороны подарить мне еще один вечер. — Где это? В Пре-Кателан? — Вы не хотите, чтобы я заехал за вами? Хорошо, как вам будет угодно... — Но мне было бы совсем не сложно проехать мимо вашего дома... — Почему нет? — Что? Я все время настаиваю? Но как же вы хотите, чтобы я прореагировал... Это ради того, чтобы вы не ждали меня в одиночестве в ресторане в случае, если я приеду позже вас... — Я говорю: чтобы вы не ждали меня в ресторане одна... — Что? Мы будем не одни? А кто еще будет? Жео? — Ну что вы, никакого неудобства... — Да нет, вовсе нет. — Ничем я не огорчен. — Что? Разумеется, это будет не одно и то же. — Что? Не обижаюсь ли я?..

Жозефа пожирала его глазами; она мотнула головой в его сторону, подобно старой, вышедшей на покой кобыле, пробужденной ото сна цирковой музыкой. Ив повесил трубку и обернул к ней искаженное страданием лицо. Она не поняла, что он в это самое время размышлял над тем, а не вышвырнуть ли ему ее за дверь, но тем не менее почувствовала, что настало время откланяться. Он пообещал, что напишет Жану-Луи о дяде. Как

только он получит ответ, тут же передаст его Жозефе. Она долго не могла найти карточку со своим адресом; наконец ушла.

Дядя Ксавье очень болен, дядя Ксавье умирает. Ив повторял это про себя до одури, возвращал к этому свои непослушные мысли, призывал на помощь образ дяди в разных видах: в кресле в серой комнате, на улице Кюрсоль, подле огромной материнской постели... Когда пора было идти спать, Ив наклонял голову, дядя прерывал свое чтение и целовал его в лоб со словами: «Спокойной ночи, мой птенчик...» Вот дядя в полный рост, в городском костюме, в зарослях на берегу Юра, вытачивает из сосновой коры маленький кораблик... *Сабе, сабе, калуме, те пуртерей ун пан науэ...* Однако Ив напрасно забрасывал свои сети, напрасно вытягивал их, в них было много воспоминаний, но они все выскальзывали и падали вниз. Он не чувствовал ничего, кроме этой боли; на старые образы крупным планом наслаивались лица из недавнего прошлого и затмевали их. Эта ужасная женщина и Жео. Какова роль Жео во всей этой истории? Почему Жео и именно в этот последний вечер? Почему она выбрала именно его, того, кого он любил, когда можно было подыскать кого угодно среди такого

количества молодых людей?.. Ее голос по телефону, звучащее в нем нарочитое удивление! Она не желала скрывать от него, что они с Жео стали близки. Этим летом Жео должен был отправиться в путешествие... Ив никак не мог добиться ответа на вопрос, куда именно: Жео отвечал вскользь, уходил от темы. Черт возьми, да ведь он тоже собирался отправиться в плавание! Жео и она, на протяжении нескольких недель, на этом мостике, в этих каютах. Она и Жео.

Он лег ничком на диван и впился зубами в тыльную часть руки. Это было уже чересчур, он сумеет отомстить этой дряни за себя, навредить ей. Но как очернить ее, не запятнав себя самого? Он очернит ее... в книге, черт возьми! Необходимо, чтобы она была узнаваема. Он не станет ничего утаивать, он выльет на нее всю грязь. Она предстанет на страницах книги смешной и отвратительной одновременно. Он раскроет все ее привычки, самые сокровенные... Расскажет обо всем... даже о ее физиологии... Он один знает о ней ужасные вещи... Вот только для того, чтобы написать книгу, нужно время... Тогда как убить ее можно прямо сегодня вечером, прямо сейчас. Да, убить ее, чтобы она почувствовала опасность, чтобы успела испугаться, ведь она такая трус-

ливая! Чтобы она почувствовала, как умирает, чтобы ее смерть была долгой, и она увидела, какой безобразной она стала...

Он понемногу освобождался от своей ненависти; он выдавил из себя последнюю ее каплю. Тогда он вполголоса, очень мягко, произнес любимое имя; он повторял его, отделяя каждый слог; это все, что он мог сохранить: имя, которое никто на свете не мог запретить ему нашептывать, выкрикивать вновь и вновь. Однако этажом выше находились соседи, они все слышали. В Буриде у Ива было бы укрытие в его кабаньем логове. Сейчас тростник, должно быть, уже покрыл то узкое пространство, где однажды прекрасным осенним днем все открылось ему заранее; он представил себе, как в этом неуловимом уголке мироздания тем жарким утром жужжали осы, от бледного вереска пахло медом, и, возможно, легкий ветерок вздымал от сосен огромные тучи пыльцы. Он видел в малейших изгибах ту тропинку, по которой шел, возвращаясь домой, пока не оказался под покровом парка, и то место, где он встретился с матерью. Она накинула на свое нарядное платье сиреневую шаль, привезенную ею из Салиса. Она укрыла Ива этой шалью, потому что почувствовала, что он дрожит.

— Мама! — простонал он. — Мама...

Он рыдал; он был первым из детей семьи Фронтенак, который позвал свою мертвую мать, словно она еще была жива. Восемнадцать месяцев спустя настанет очередь и Жозе, который нескончаемой сентябрьской ночью будет лежать с распоротым животом между двумя траншеями.

XVIII

Оказавшись на улице, Жозефа вспомнила о своем больном: он был один, а приступ мог в любую секунду повториться. Она пожалела, что так сильно задержалась у Ива, всячески упрекала себя, однако Ксавье так хорошо ее выдрессировал, что мысль поймать такси даже не пришла ей в голову. Она торопилась поскорее добраться до улицы Севр, чтобы дождаться там трамвая, идущего по маршруту Сен-Сюльпис — Отей; по своему обыкновению она шагала, выставив вперед живот, задрав голову, бормоча себе под нос, к великой радости прохожих, что-то вроде: «Э бе!», с рассерженным и возмущенным видом. Она думала об Иве, однако теперь, когда молодой человек своим присутствием больше не ослеплял ее, думала с некоторой досадой. Какое безразличие он проявил, узнав о болезни дяди! Пока бедняга доживал свои последние дни, мучаясь тем, что не сможет в последний раз обнять племянников, один из них названивал какой-то графине (Жозефа успела разглядеть визитные карточки, лежавшие на полочке у зеркала Ива: *Барон и баронесса де... Маркиз де... Посол Англии и леди...*).

Сегодня вечером он собирался идти ужинать под музыку с одной из этих великосветских дам... а среди них как раз больше всего потаскушек... В фельетоне Шарля Мерувеля[21]... Вот уж кто может порассказать о них предостаточно...

За этой враждебностью скрывалась глубокая боль. Жозефа впервые оценила наивность бедняги, который пожертвовал всем ради химерической цели сохранить лицо перед своими племянниками; он стыдился своей жизни, своей невинной жизни! Да! Ничего не скажешь, хорошенький был разврат! Оба лишили себя всего ради этих ребят, которые могли бы об этом даже не узнать или же узнать и посмеяться над ними. Она села в трамвайчик, вытерла покрасневшее лицо. У нее все еще были приливы, правда, меньше, чем в прошлом году. Только бы с Ксавье ничего не случилось! Так удобно, что остановка находится прямо перед их домом.

Тяжело дыша, она взобралась на четвертый этаж. Ксавье сидел в столовой около открытого окна. Он дышал немного прерывисто, сидел, не двигаясь. Он сказал, что ему уже почти не больно, что не страдать от боли уже чудесно.

---

[21] Примечания: 21

Мерувель Шарль (1832-1920) — французский писатель, автор бульварных романов.

Ему достаточно сидеть неподвижно. Он немного проголодался, но предпочел попоститься, чем рисковать новым приступом. Мост метро проходил почти на высоте их окна и непрестанно громыхал. Однако ни Ксавье, ни Жозефе это ничуть не мешало. Они жили тут, придавленные мебелью, вывезенной из Ангулема, слишком массивной для этих крохотных комнаток. Пламя любви повредилось во время переезда, многие инкрустации на шкафу откололись.

Жозефа обмакивала кусочек хлеба в яйцо всмятку и предлагала старику поесть; она разговаривала с ним, как с ребенком: «Ну давай, мой цыпленочек, мой котик...» Он не шевелил ни единым мускулом, напоминая тем самым насекомых, для которых неподвижность остается последним средством самозащиты. Ближе к вечеру между двумя поездами метро он услышал крик стрижей, совсем такой же, как некогда над садами Преньяка. Вдруг он произнес:

— Я никогда больше не увижу малышей.

— Тебе еще рано об этом думать... Но если ты очень хочешь, то достаточно отправить им телеграмму.

— Когда доктор позволит мне перебраться к себе...

— Ну и что из того, что они придут сюда? Ты можешь сказать, что ты переехал, что я твоя сиделка.

Казалось, он на мгновение заколебался затем опустил голову:

— Они сразу увидят, что это не моя мебель... И потом, даже если бы они ни о чем и не догадались, они не могут прийти сюда. Даже если бы они никогда не догадались, не нужно, чтобы они сюда приходили, из уважения к семье.

— Да что я, чума, что ли?

Она заупрямилась: возражение, которое она никогда не осмелилась бы высказать Ксавье, если бы тот был в добром здравии, она адресовала этому умирающему. Он не пошевелился, стараясь делать как можно меньше движений.

— Ты хорошая женщина... но ради памяти Мишеля не нужно, чтобы дети семьи Фронтенак... Тут дело не в тебе, а в принципе. И потом, было бы так горько, если бы после того, как мне в течение всей жизни удавалось скрывать от них...

— Да ладно! Неужели ты и вправду думаешь, что за столь долгое время они не узнали обо всем?

Увидев, что он заерзал в своем кресле и дыхание его участилось, она пожалела о своих словах.

— Нет, — поправилась она, — они пока не знают. Но даже если и узнают, то нисколько тебя не осудят...

— О да! Малыши слишком добры, чтобы выражать неудовольствие, но...

Жозефа отошла от кресла и высунулась в окно... Добрые малыши! Сегодня утром она заметила на лице Ива, когда тот, разговаривая по телефону, сделал вид, что смотрит в свою записную книжку, это выражение безумного счастья. Она представляла его себе «с рыбьим хвостом», как она называла фрак, в шапокляке в каком-нибудь роскошном ресторане, где на каждом столике стоит розовая лампа. По железному мосту с грохотом проезжали поезда метро, полные возвращающимися после трудового дня рабочими. Казалось, что Ксавье дышит чуть быстрее, чем днем. Он подал знак, что не хочет ни говорить, ни слушать кого бы то ни было, ни есть. Он сворачивался в клубок, он вел себя как мертвый, чтобы не умереть по-настоящему. Наступила ночь, из-за жары окно осталось открытым, несмотря на предписание врача держать его закрытым, потому что во время приступов больной уже не понимает, что делает. Нищета мира... Жозефа сидела между окном и креслом, окруженная мебелью, которой

она так гордилась и которая в этот вечер, она даже не могла бы сказать, почему это произошло, вдруг показалась ей нищенской. Больше не было рабочих: поезда метро проносились по направлению к площади Звезды почти пустыми. Пересадка у Пор Дофин... Жозефа часто выходила на этой остановке вместе с Ксавье, подхваченная толпой, которая выплескивается на улицы грустными воскресными днями. А Ив Фронтенак, должно быть, в этот час проезжал мимо нее в своем «легковом автомобиле с закрытым верхом». А сколько, интересно, стоят десерты в больших ресторанах? Все эти лангусты, персики в вате или что-то, напоминающее огромные лимоны Она так никогда этого и не узнает. Ей всегда приходилось выбирать между закусочными Булана, Дюваля и Скоссы... Что в общей сложности стоило три с половиной франка. Она смотрела на запад, представляла себе Ива Фронтенака вместе с этой дамой и тем другим молодым человеком...

Ужин подходил к концу. Она встала и проскользнула между столиками, сказав, что пойдет привести себя в порядок. Ив подал знак официанту налить еще шампанского. Он выглядел спокойным, расслабленным. На протяжении всего вечера Жео объяснял молодой женщине,

какой нужен чемодан для каюты, где купить маленькую дорожную сумочку (он знал одного торговца, который продавал их по оптовой цене). Было очевидно, что они не едут вместе, напротив, по многим, совершенно незначительным их словам можно было понять, что они расстаются на долгие месяцы и не испытывают при этом ни малейшей грусти.

— Опять этот шлягер двухлетней давности, — сказал Жео.

И он напел вполголоса вместе с оркестром: *Нет, ты не узнаешь никогда...*

— Послушай, Жео, ты не поверишь, что я себе вообразил...

Ив смотрел своими лучистыми глазами на дружелюбное лицо юноши, который взял бокал слегка дрожащей рукой.

— Я решил, что вы уезжаете вместе, что вы это от меня скрываете.

Жео пожал плечами, привычным движением поправил галстук. Затем открыл черный эмалированный портсигар, выбрал сигарету. И все это время он смотрел в глаза Ива.

— Когда я думаю, что я, Ив... ты... со всем, что у тебя здесь, — он слегка прикоснулся своим указательным пальцем, пожелтевшим от никотина, ко

лбу своего друга, — у тебя, к этой... Я бы не хотел тебя задеть...

— О! Мне все равно, что ты считаешь ее идиоткой... но ты преподнес мне хороший урок!

— Я, — сказал Жео, — я ничего не делал...

Он склонил свое милое, слегка увядшее лицо, затем посмотрел наверх и улыбнулся Иву восхищенно и нежно.

— И потом, что касается меня, то пока это опять на меня не накатило...

Он подал знак официанту, опорожнил бокал, с блуждающим взглядом продиктовал заказ:

— Два, самого лучшего... Что касается меня, — продолжил он, — то ты видишь всех этих курочек? Так вот, я променял бы их всех, вместе взятых... догадайся на кого?

Он приблизил к Иву свои чудесные глаза и одновременно смущенно и страстно прошептал:

— На посудомойку!

Они прыснули со смеху. И вдруг целый мир грусти обрушился на Ива. Он взглянул на Жео, тоже сильно помрачневшего: неужели и он испытывал то же чувство обманутости, бесконечной насмешки? Иву показалось, что из невероятного далека он слышит перешептывание уснувших елей.

— Дядя Ксавье, — прошептал он.

— Что?

И Жео, ставя свой бокал на стол, подняв указательный и средний пальцы, подал официанту знак принести новую порцию.

XIX

В одно октябрьское утро дети семьи Фронтенак (кроме Жозе, по-прежнему находившегося в Марокко) в холле гостиницы д'Орсе стояли вокруг Жозефы. Летом дядя, казалось, стал поправляться, но недавно накативший резкий приступ свалил его окончательно, и врач уже не надеялся на то, что он сможет оправиться от него. Телеграмма Жозефы пришла в Респид, когда Ив присматривал за сбором винограда и уже подумывал о возвращении, но и не торопился, так как «она» возвращалась в Париж лишь в конце месяца. Впрочем, он уже успел привыкнуть к ее отсутствию и теперь, когда перед ним забрезжил свет в конце туннеля, он бы с удовольствием задержался подольше...

Жозефа, поначалу оробевшая перед Фронтенаками, напустила на себя важный, преисполненный достоинства вид, однако волнение внесло коррективы в ее поведение. И потом Жан-Луи с первых же слов тронул ее сердце. Ее преклонение перед Фронтенаками наконец-то нашло для себя достойный объект, который ее не разочаровал. Именно к нему она обращалась, видя в нем

главу семьи. Обе молодые женщины вели себя несколько натянуто и держались в стороне, но не из гордости, как казалось Жозефе, а потому, что не знали, как себя вести. (Жозефа никогда бы не подумала, что они такие упитанные; вся полнота, отведенная семье, пришлась на их долю.) Ив, утомленный ночным путешествием, прикорнул в кресле.

— Я убедила его в том, что представлюсь вам в качестве его сиделки. Поскольку он совсем не говорит (он не хочет разговаривать, полагая, что это может повлечь за собой новый приступ), я не очень поняла, согласился он или нет. У него бывают провалы в памяти... Невозможно понять, чего он хочет... На самом же деле он думает только о своей боли, которая может накатить в любую минуту, похоже, что она настолько ужасна... будто бы у него на груди целая гора... Я бы не пожелала вам присутствовать во время приступа...

— Какое это испытание для вас, мадам...

Она в слезах пробормотала:

— Вы так добры, господин Жан-Луи.

— В его несчастье ваша преданность, ваше уважение — это такая поддержка.

Его незамысловатые слова подействовали на Жозефу как ласка. Вдруг сделавшись такой

родной, она тихо плакала, опершись о руку Жана-Луи. Мари прошептала на ухо Даниэль:

— Зря он так себя с ней ведет, мы потом от нее не отделаемся.

Договорились, что Жозефа подготовит дядю к их приходу. Они придут часам к десяти и подождут на лестничной клетке.

Только здесь, на этой грязной лестнице, где дети семьи Фронтенак стояли, прислушиваясь к каждому звуку, в то время как местные обитатели, уведомленные консьержкой, перевешивались через перила; только здесь, сидя на перепачканной ступеньке, прислонившись спиной к поддельному мрамору щербатой стены, Ив наконец ощутил весь ужас происходящего за этой дверью. Время от времени Жозефа приоткрывала дверь, высовывала распухшую от слез физиономию, просила их подождать еще немного; держа палец у рта, она затворяла створку двери. Дядя Ксавье, каждые две недели входивший в серую комнату на улице Кюрсоль в Бордо, завершив объезд владений; дядя Ксавье, мастеривший свистки из веточек ольхи, сейчас агонизировал в этой трущобе, в квартире у этой женщины, напротив метромоста, неподалеку от станции Мотт-Пике-Гренель. Бедняга, по рукам и ногам связанный предрас-

судками, фобиями, неспособный пересмотреть раз и навсегда усвоенное с подсказки родителей мнение; уважающий установленный порядок и одновременно такой далекий от простой, нормальной жизни... Дыхание октября наполняло эту лестницу и напоминало Иву застоявшийся запах в вестибюле на улице Кюрсоль в день начала школьных занятий. Это был смешанный запах тумана, мокрой мостовой, линолеума. Даниэль и Мари перешептывались. Жан-Луи не шевелился, стоял, закрыв глаза, прислонившись лбом к стене. Ив не обращался к нему, понимая, что его брат молится. «Придется вам, господин Жан-Луи, поговорить с ним о Боге, — сказала Жозефа, — меня-то он и слушать не захочет, вы же знаете!» Ив хотел было присоединиться к Жану-Луи, но ничего не приходило ему на ум из этого забытого языка. Он был теперь страшно далек от той поры, когда и ему достаточно было закрыть глаза, молитвенно сложить руки. Какими долгими казались минуты! Теперь на ступени, на которой он сидел, ему были досконально известны все пятна, слагавшиеся в рисунки.

Жозефа приоткрыла дверь и подала им знак, что они могут войти. Она провела их в столовую, а сама исчезла. Фронтенаки старались не дышать,

даже не шевелиться, так как туфли Жана-Луи скрипели при малейшем движении. Окно, судя по всему, в последний раз открывалось лишь накануне; в этих стенах, обклеенных красными обоями, витали запахи старой пищи и газа. Две олеографии, на одной из которых были изображены персики, а на другой малина, были точно такими же, как и в столовой преньякского дома.

Позже им стало ясно, что им не следовало появляться здесь всем вместе. Если бы дядя увидел сначала одного Жана-Луи, то он привык бы к его присутствию, безумием было войти целой толпой.

— Вы видите, господин, они пришли, — повторяла Жозефа, неестественно играя роль сиделки. — Не желаете ли взглянуть на них? Они здесь все, кроме господина Жозе...

Он сидел неподвижно, застыв в своей позе насекомого. Единственной активной частью лица, на которое страшно было смотреть, оказались глаза, перебегавшие от одного к другому, как будто бы ему угрожал удар. Обеими руками, сложенными на груди, он вцепился в лацканы пиджака. Жозефа, вдруг позабыв о своей роли, забормотала:

— Ты ничего не говоришь, потому что боишься, что это причинит тебе боль? Э... не говори ничего,

бедняжка. Ты видишь их, своих малышей? Ты доволен? Смотрите друг на друга и не разговаривайте. Если ты, заинька, плохо себя чувствуешь, скажи нам. Если тебе больно, то покажи мне знаком. Хочешь, я сделаю тебе укол? Подожди, я пойду приготовлю ампулу.

Она несла всякую чепуху, разговаривала с ним так, как обычно разговаривают с совсем маленькими детьми. Но умирающий, замкнувшись в самом себе, по-прежнему выглядел затравленным. Четверо детей Фронтенак, стоявшие плотной группой, парализованные тревогой, не догадывались, что выглядят как члены суда присяжных, готовые принять клятву. Наконец Жан-Луи отделился от остальных, обнял дядю за плечи и сказал:

— Видишь, только Жозе не смог прийти. Мы получили от него хорошие новости...

Губы Ксавье Фронтенака зашевелились. Сначала они, склонившись над его креслом, даже не поняли, что он сказал.

— Кто попросил вас прийти?

— Мадам... твоя сиделка...

— Это не моя сиделка... Говорю же вам: она мне не сиделка. Ты ведь слышал, что она обращалась ко мне на «ты».

Ив встал на колени у исхудалых ног дяди:

— Ну и что из этого? Это совершенно неважно, это нас не касается, ты наш дорогой дядя, брат папы...

Но больной оттолкнул его, даже не взглянув.

— Вы об этом узнаете! Вы узнаете! — повторял он с блуждающим взглядом. — Я как дядя Пелуер. Помню, он сидел в Буриде, запершись с той женщиной... Он не хотел видеть никого из семьи... К нему отправили посредником вашего бедного отца, который тогда был еще совсем молодым. Я помню: Мишель уехал в Буриде на лошади и повез с собой баранью ногу, потому что дядя любил преньякское мясо... Ваш отец рассказывал, что ему пришлось долго стучать... Дядя Пелуер приоткрыл дверь... Он пристально посмотрел на Мишеля, взял из его рук баранью ногу, захлопнул дверь, закрыл ее на задвижку... Я помню эту историю... Это забавная история, но я слишком много болтаю... Забавная история...

Он засмеялся смехом одновременно сдержанным, тихим, причинившим ему боль, смехом, который никак не прекращался. На него накатил приступ кашля.

Жозефа сделала ему укол. Он закрыл глаза. Прошло четверть часа. Поезда метро сотрясали весь

дом. Когда они затихли, этих ужасных хрипов слышно больше не было. Вдруг он зашевелился на своем кресле, открыл глаза.

— Мари и Даниэль здесь? Они пришли к моей любовнице. Я заставил их прийти к женщине, которую я содержу. Если бы Мишель и Бланш узнали об этом, они бы меня прокляли. Я ввел детей Мишеля в дом к своей любовнице.

Больше он не говорил. Он зажал себе нос, его лицо стало фиолетовым, он стал издавать хрипы, эти булькающие предвестники конца... Жозефа в слезах обняла его, а Фронтенаки испуганно попятились к двери.

— Ты не должен стыдиться их, мой дорогой, они хорошие ребята, они все понимают, они знают... Что тебе нужно? Что ты просишь, котик?

Обезумев, она спрашивала детей:

— О чем он просит? Я не могу понять, чего он хочет...

Им были совершенно понятны движения его руки слева направо; это значило: «Уходи!» Богу не было угодно, чтобы она поняла, что он ее прогоняет, ее, свою старую подругу, своего единственного друга, свою служанку, свою жену.

Ночью последний поезд метро заглушил стоны Жозефы. Она отдалась своему горю без удержу,

ей казалось, она должна кричать. Консьержка и уборщица поддерживали ее под руки, смачивали ей виски уксусом. Дети семьи Фронтенак опустились на колени.

XX

— Что хорошенького вы пишете?

Задавая этот вопрос, Дюссоль хотел показаться дружелюбным, но улыбки не сдерживал. Ив, развалившись на диване Жана-Луи, притворился, что ничего не слышит. В тот же вечер он должен был сесть в поезд и уехать обратно в Париж. Дело происходило ближе к вечеру, на следующий день после похорон дяди Ксавье в Преньяке. Дюссоль, который не смог присутствовать на них, из-за своего ревматизма (уже год как он передвигался с палочкой), приехал выразить свои соболезнования семье.

— Значит, — вновь заговорил он, — вы по-прежнему во всеоружии?

Поскольку комната не была освещена, он плохо различал выражение лица Ива, по-прежнему молчавшего.

— Какой скрытник! Ну же! Кисть или перо? Стихи или проза?

Неожиданно Ив решился ответить:

— Я пишу книгу «Характеры»... Да, срисованные с реальных людей. Как вы видите, в этом нет никакой заслуги: я ничего не придумываю; я

просто в точности воспроизвожу большую часть типажей, с которыми мне пришлось столкнуться в жизни.

— И это будет так и называться «Характеры»?

— Нет, «Рожи».

Наступило минутное молчание. Мадлен спросила у Дюссоля сдавленным голосом: «Еще чашку чаю?» Жан-Луи заговорил об очень важной вырубке в районе Буриде, о которой компания Фронтенаков-Дюссолей в настоящий момент вела переговоры.

— Это не ваша вина, — сказал Дюссоль, — но вообще-то было бы досадно, если бы смерть вашего дяди задержала заключение сделки. Вы ведь знаете, что Лакань дышит нам в затылок...

— У меня встреча по этому поводу послезавтра утром, в первом часу, прямо на месте.

Жан-Луи говорил рассеянно, не отрывая глаз от Ива и различая лишь его лоб и руки. Он встал, чтобы зажечь свет. Ив чуть повернул голову, показав брату темные растрепанные волосы, впалую желтую щеку, тонкую шею.

— Мне вообще-то хочется поехать вместе с Ивом в Париж, — произнес Жан-Луи, поддавшись внезапному порыву. — Мне необходимо повидаться с Лаба...

— Вам не удастся вернуться достаточно рано для послезавтрашней встречи, — возразил Дюссоль. — Речь идет как раз о Лаба! Эта вырубка принесет сто тысяч франков прибыли, я дам вам свой билет.

Жан-Луи провел рукой по носу и губам. Чего он опасался? Он не мог ни на секунду отвести взгляд от Ива. После отъезда Дюссоля он прошел к себе в комнату, куда за ним последовала Мадлен.

— Ты такой из-за Ива? — спросила она.

Она научилась понимать мужа, который с каждым часом все больше чувствовал себя расшифрованным, прозрачным.

— Да, признаюсь, он меня беспокоит.

Она возразила: его беспокойство ни на чем не основано, Ив потрясен смертью дяди Ксавье; он все еще находится под впечатлением этого события, но парижская жизнь быстро развеет его.

— Мы же знаем, какую жизнь он ведет... Он только в семье напускает на себя этот вид, выводящий тебя из равновесия. А там, судя по тому, как он ответил Дюссолю, он не очень-то предается меланхолии. Ты же не станешь рисковать потерей сотни тысяч франков из-за всякой ерунды, которую ты вбил себе в голову.

Она инстинктивно нашла аргумент, против

которого Жан-Луи никогда не мог устоять: он отвечал не только за свои собственные деньги, но за деньги всей семьи. Остальную часть вечера, вплоть до отъезда Ива, он старался побольше общаться с братом, который отвечал, не повышая голоса, и казался спокойным. Ничто не подтверждало тревоги Жана-Луи. Тем не менее, когда дверцы вагона, в который он посадил Ива, уже закрывались, он чуть было не остался с братом.

Едва Ив проехал туннели Лормона, как ему сразу же стало легче дышать. Он ехал к ней, каждый оборот колес приближал его к ней; на следующее утро, на одиннадцать часов, у него было назначено свидание в баре в погребке в начале улицы, около площади Звезды. На этот раз, поскольку он был готов к самому худшему, он не будет чувствовать себя подавленным; что бы она ни собиралась ему сказать, он увидится с ней. В общем, можно будет жить, всегда надеясь на возможную встречу. Вот только он постарается сократить перерывы между встречами по сравнению с прошлым годом. Он скажет ей: «Я быстрее начинаю задыхаться. Не рассчитывайте, что я смогу долго оставаться вдали от животворящего источника. Я дышу, я существую в вас». Она улыбается, зная, что Ив не любит слушать

рассказы о путешествиях, он быстро прервет ее повествование о морской поездке. «Я скажу ей, что меня интересует лишь человеческая география: не пейзажи, а люди, с которыми ей довелось встретиться. Все те, кто за эти три месяца мог прикоснуться к ней. Их, вероятно, меньше, чем я себе воображаю... Она говорит, что в ее жизни нет ничего важнее меня. Тем не менее у нее были поклонники... Кто был у нее в прошлом году?» Он продвигался на ощупь до тех пор, пока не вернулся на тропу преодоленных прошлогодних страданий. Прокаженный в нем бередил, разжигал его ревность, заставлял кровоточить подсохшие раны. Он приближался к городу, не имевшему ничего общего с тем Парижем, где восемь дней назад Ксавье Фронтенак умер такой ужасной смертью.

— Не смотрите на часы, дорогая. Мы всего лишь десять минут вместе, а вы уже беспокоитесь о времени. Вы постоянно живете в том времени, в котором меня уже не будет.

— Уже упреки? Вы не находите, что я загорела?

Он заранее купил ей в подарок костюм с лисьим воротником; ей он понравился. Он позволил ей довольно долго рассказывать о Балеарских островах. Но уже трижды заставил ее повторить,

что она не встретила никого интересного... Кроме своего бывшего мужа, в Марселе. Они вместе поужинали, как приятели: постепенно напиваясь, он вынужден был покинуть ее, чтобы пойти покурить, без этого он больше не может.

— Ну, а как ты, мой милый Ив?

Пока он говорил, она подкрасила губы помадой и попудрилась. Поскольку он рассказывал о смерти дяди Ксавье, она рассеянно спросила, оставил ли дядя наследство.

— Он почти все, что у него было, отдал нам при жизни.

— Значит, его смерть не представляет большого интереса.

Она сказала это по простоте душевной. Необходимо было ей объяснить... создать у нее представление об этом мире, о тайне... К молодому человеку за соседним столиком подсела женщина: они заговорили друг с другом. Двое или трое мужчин, сидевших у стойки бара, не обернулись. На улице фырчали автобусы. Электричество горело, было не похоже, что дело происходило утром. Она по одной отправляла в рот соломки холодной жареной картошки.

— Я проголодалась, — сказала она.

— Тогда на завтрак... Не можешь? Тогда когда

же? Завтра?

— Подожди-ка... Завтра?... В четыре часа у меня примерка... в шесть часов... нет, завтра не получится... А как насчет четверга?

Он равнодушно спросил: «Через три дня?» Три дня и три ночи этой женщины, о которых он ничего не узнает, которые будут заполнены другими людьми, другими событиями... Он думал, что готов к этому, что это не будет для него неожиданностью, но боль непредсказуема. На протяжении долгих месяцев он из сил выбивался, гоняясь за ней. После трехмесячного отдыха погоня возобновлялась, но только при других условиях: он сдался, был разбит, он больше не сможет бегать. Она понимала, что он страдает, взяла его за руку. Он не отнял ее. Она спросила его, о чем он думает. Он сказал:

— Я думал о Респиде. Однажды, после похорон дяди, я один поднялся из Преньяка на кладбище. Мой брат уехал в Бордо вместе с сестрами. Я попросил открыть дом. Зашел в гостиную, где стоял запах подгнившего пола и погреба. Ставни были плотно закрыты. В полумраке я лег на ситцевый диван, вытянул ноги. Прижался щекой и телом к холодной стене. Закрыв глаза, я попытался убедить себя в том, что лежу между мамой и дядей...

— Ив, вы жестоки.

— Никогда еще мне не удавалось настолько полно ощутить себя в объятиях смерти. Эти толстые стены, эта гостиная, похожая на погреб, в центре потерянных владений. Ночь... Жизнь уходила в бесконечность. Это был отдых. Отдых, моя дорогая, подумайте только! Возможность больше не чувствовать, что ты любишь... Почему нас приучили так бояться небытия?.. Неисправимо верить, несмотря ни на что и вопреки всему, в вечную жизнь. Это означает утратить прибежище небытия.

Он не заметил, что она тайком взглянула на часы. Она сказала:

— Ив, мне пора бежать: лучше выйдем по отдельности. До четверга... Давайте договоримся встретиться у меня в семь часов... Нет, в половине восьмого... Нет, лучше без четверти восемь.

— Нет, — ответил он со смехом, — в восемь ровно.

XXI

Идя по Елисейским Полям, Ив все еще продолжал смеяться, но не поддельным, горьким смехом, а от всего сердца, его смех заставлял прохожих оборачиваться. Только что пробило полдень, он взбежал по ступенькам лестницы вокзала д'Орсе совсем рано: итак, этих нескольких часов ему хватило, чтобы исчерпать радость от встречи, которой он ждал в течение трех месяцев, и вновь обнаружить себя слоняющимся по улицам... Как она говорила, «это было смешно». Некоторая приподнятость настроения еще сохранялась у него на той скамейке на площади Рон-Пуан, куда он присел, ощущая, что ноги его разбиты еще сильнее, чем если бы он шел сюда пешком от самого своего имения. Он страдал только от какой-то опустошенности: никогда еще предмет его любви не казался ему до такой степени смехотворным, выброшенным из его жизни, растоптанным, грязным, конченым. Тем не менее любовь все еще продолжала жить в его душе, она сосредоточилась на этой странной мучительной пустоте. Он переживал те мгновения, которые знакомы любому мужчине, когда-нибудь в своей

жизни любившему, мгновения, когда, все еще пытаясь обнять ускользающее, мы прижимаем к сердцу пустоту в буквальном смысле этого слова. В этот теплый и мягкий октябрьский полдень, сидя на скамейке на Рон-Пуан на Елисейских Полях, последний из Фронтенаков не представлял себе цели, которая бы находилась дальше Марли. Дойдя до них, он не знал, повернет ли направо, налево или дойдет до Тюильри и попадет в западню Лувра.

Вокруг него на этом перекрестке люди и машины кружили, смешивались в однородную массу, затем вновь разделялись, и он чувствовал себя там таким же одиноким, как и некогда в центре тесного пространства, окруженного папоротником и камышом, на котором он скрывался в своем диком детстве. Однородный шум улицы напоминал нежные звуки природы, а прохожие казались ему более чужими, чем сосны Буриде, чьи вершины в свое время оберегали этого маленького Фронтенака, прижавшегося к их подножиям в самой густой чаще. Сегодня эти мужчины и женщины жужжали, как мухи в ландах, застывали на месте, как стрекозы, и, случалось, кто-нибудь один из них иногда садился рядом с Ивом, совсем близко, даже его не замечая, а затем улетал. Но

каким же глухим и далеким стал голос, который преследовал ребенка Фронтенака в глубине его кабаньего логова и который он, даже в эту минуту, все еще слышал! Он хорошо видел, — повторял голос, — все эти непроезжие дороги, которые были ему предвещены, все эти бесконечные страсти. Вернуться назад, вернуться назад... Вернуться назад, когда у тебя уже почти не осталось сил? Пройти весь путь заново? Какое восхождение предстоит преодолеть! А, впрочем, для чего все это? Ив блуждал по миру, насыщенному тяжелым человеческим трудом. От него, с опережением закончившего свою работу и сдавшего рукопись в набор перед тем, как пойти развлекаться, не требовалось больше ничего. Ничего, кроме как запечатлевать на бумаге реакции абсолютно ничем не занятого разума... Он не смог бы заниматься чем-то иным, да и мир не требовал от него ничего другого. Среди всего того человеческого муравейника, что суетился вокруг его скамейки, кто мог бы его поработить? Ну нет, лучше уж помереть с голоду!.. «И все же тебе известно, — настойчиво повторял голос, — ты был создан для изнурительной работы, и ты подчинился бы ей телом и душой, потому что она не мешала бы тебе жить жизнью, исполненной бездонной

любви. Единственная работа, которая никак не отвлекала бы тебя от любви, в которой она ежесекундно бы проявлялась, которая объединила бы тебя со всеми людьми на почве милосердия...» Ив опустил голову и произнес: «Господи Боже, сжалься надо мной».

Он встал, сделал несколько шагов по направлению ко входу в метро неподалеку от Большого Дворца и облокотился о перила. Это было время, когда заполнялись мастерские, а метро поглощало и выбрасывало из себя муравьев с человеческими головами. Ив долго невидящим взглядом наблюдал за этим вливанием и вытеканием человеческой массы. Когда-нибудь — он был в этом уверен и сейчас призывал этот день из глубины своей усталости и отчаяния — необходимо, чтобы все люди оказались вынужденными подчиниться этому движению прилива и отлива: все, без малейшего исключения. То, что Жан-Луи называл социальным вопросом, больше не встанет перед такими замечательными людьми, как он. Ив мечтал: «Мне необходимо увидеть тот день, когда в определенный час, поглощая человеческую волну, откроются и закроются шлюзы. Никакие приобретенные богатства больше не позволят никому из Фронтенаков оставаться в

стороне под тем предлогом, что ему необходимо поразмышлять, предаться отчаянию, написать для своей ГАЗЕТЫ, помолиться, замолить грехи. Люди из низов восторжествуют над человеческой личностью, да, человеческая личность будет уничтожена, и вместе с ней одним махом исчезнет то, что приносит нам мучение и одновременно является источником милого нашему сердцу наслаждения: любовь. Не будет больше сумасшедших, превращающих бесконечное в конечное. Радость от мысли о том, что, вероятно, близко то время, когда из-за нехватки воздуха все Фронтенаки исчезнут с лица земли и ни одно существо не сможет даже представить себе того, что испытываю в эту секунду я, стоя облокотившись о поручни метро: этого пресного умиления, этого пережевывания того, что любимая могла бы мне сказать, начиная со дня нашего знакомства, и как она стремится заставить меня поверить в то, что она все же дорожит мной, — так же ведет себя изолированный ото всех больной, повторяя про себя слова врача, в которых он обрел надежду на выздоровление и которые он знает наизусть. Притом что они не имеют над ним больше никакой власти, он не перестает повторять их про себя вновь и вновь...»

После Марли... Он не мог придумать ничего лучшего, чем пойти домой и лечь спать. Умереть для него, несчастного бессмертного, не имело ни малейшего смысла. Он оказался в окружении по эту сторону. Кто носит фамилию Фронтенак, узнает, что в небытие нет выхода и что дверь в могилу надежно охраняется. В том мире, который он рисовал себе, который он видел, чей приход он предчувствовал, соблазн смерти больше не будет преследовать никого, потому что это деловое и очень занятое общество будет выглядеть как живое, но на самом деле будет уже мертвым. Нужно быть личностью, человеком, отличающимся ото всех других, необходимо держать собственную жизнь в своих руках и оценивать ее, и смотреть на нее трезво под взглядом Господа, для того чтобы иметь возможность сделать выбор: умирать или жить дальше.

Забавно было думать об этом... Ив пообещал себе рассказать Жану-Луи историю, которую он придумал только что, стоя перед входом в метро; он радовался при мысли о том, как удивит его, описывая революцию будущего, способную затронуть самые сокровенные стороны человеческого существа, способствовать разложению самой его природы, вплоть до того, что сделает его похо-

жим на перепончатокрылых: пчел, муравьев... Ни один вековой парк не раскинет больше своих ветвей над отпрысками одной семьи. Сосны старинного имения не станут больше свидетелями того, как из года в год взрослеют одни и те же дети; в худых и чистых лицах, запрокинутых к вершинам, не увидят больше черт их отцов и дедов, когда те были в том же возрасте... Все дело в усталости, думал Ив, это усталость заставляет его бредить. Как хорошо было бы поспать! Перед ним не вставал вопрос — жить или умирать, он хотел лишь выспаться. Он остановил такси и нащупал в глубине кармана маленький пузырек. Он поднес его к глазам и занялся разгадыванием магической формулы на этикетке: *Allylis Opropylbarbiturate de phenyldimethyldimethylamino Pyrazolone, 0,16 g.*

В это время Жан-Луи, сначала сидя за столом напротив Мадлен, затем стоя и наспех глотая кофе, садясь за руль своей машины и, наконец, в конторе, внимательно всматриваясь в глаза подручного Жанена, отчитывавшегося ему в проделанной работе, повторял про себя: «Ив ничем не рискует; мое беспокойство ни на чем не основано. Вчера вечером, садясь в вагон, он казался намного спокойнее, чем в целом выглядел все по-

следнее время... Да, но именно это спокойствие...» Он слышал, как на платформе пыхтит паровоз. Это сделка, не позволяющая ему уехать... почему бы не объяснить ее сути Жанену, который находится здесь; он инициативен, страстно мечтает о продвижении по службе. Искристый взгляд молодого человека пытался перехватить мысль Жана-Луи, предвосхитить ее... И тут, вдруг, Жан-Луи понял, что сегодня вечером он уедет в Париж. Завтра утром он будет уже в Париже. Его душа мгновенно обрела спокойствие, словно неведомая сила, со вчерашнего вечера державшая его за горло, поняла, что может разжать свои объятия, ибо ее цель достигнута.

XXII

Ив слышал, как откуда-то из глубины пропасти, из бесконечности, раздался, как ему смутно показалось, телефонный звонок, после которого ему сообщили из Бордо о болезни матери (хотя он знал, что ее уже больше года нет в живых). Тем не менее минуту назад она находилась в этой комнате, где при жизни была лишь однажды. Она приезжала из Бордо посмотреть на квартиру Ива («Чтобы потом иметь возможность мысленно представлять его в ней», — сказала она). Больше она здесь не появлялась, если не считать этой ночи, — и Ив все еще очень живо представлял ее себе в кресле, у изголовья кровати, она не занималась своим привычным рукоделием, потому что была мертва. Мертвые не вяжут и не разговаривают... Но губы ее шевелились: она торопилась выговорить что-то очень важное, но у нее ничего не получалось. Она вошла точно так же, как делала это в Буриде, когда ей что-то было нужно: без стука, мягко нажимая на ручку и толкая дверь всем телом, погруженная в тревожные мысли, не обращая внимания на то, что могла своим вторжением прервать письмо,

чтение, сон, слезы... Она находилась здесь, но при этом звонили из Бордо, чтобы сообщить о ее смерти, и Ив смотрел на нее с тревогой, стараясь уловить никак не желавшее слетать с ее губ слово. Раздался новый звонок. Что он должен был ответить? Хлопнула входная дверь. Он услышал голос консьержки: «Хорошо еще, что у меня есть свой ключ...» Ей ответил Жан-Луи (но ведь он в Бордо?..): «Вид умиротворенный... Он мирно спит... Нет, пузырек практически полный; он проглотил совсем немного...» Жан-Луи в комнате. В Бордо и одновременно в этой комнате. Ив, желая его успокоить, улыбнулся.

— Ну как дела, старик?

— Ты в Париже?

— Да, мне необходимо сделать...

Жизнь проникает в Ива отовсюду, а сон постепенно отступает на второй план. Жизнь струится, заполняет его... Он вспоминает: какая трусость, три таблетки! Жан-Луи спрашивает Ива о том, что не дает ему покоя. Ив не пытается притворяться. Он бы и не смог, у него не осталось больше на это ни сил, ни желания, как, впрочем, не осталось и крови. Все события вставали на свои места: позавчера он был в Бордо, вчера утром в небольшом баре, а потом этот безумный день... И вот

Жан-Луи здесь.

— Но почему ты здесь? Сегодня же день той самой знаменитой сделки...

Жан-Луи опустил голову: больной не должен забивать себе голову всем этим. Тогда Ив сказал:

— Нет, я не болен. Просто чувствую себя совершенно подавленным, разбитым...

Жан-Луи взял его за запястье и, сверяясь с часами, измерил пульс, как это делала мама, когда они в детстве болели. Затем движением, тоже позаимствованным у мамы, старший брат откинул волосы, закрывавшие лоб Ива, чтобы убедиться, что у него нет температуры, — а может быть, и для того, чтобы при полном освещении лучше рассмотреть его черты, и, наконец, просто из нежности.

— Не волнуйся, — сказал Жан-Луи, — не разговаривай.

— Останься!

— Ну конечно же, я останусь.

— Присядь... Нет, только не на мою кровать. Пододвинь кресло.

Больше они не шевелились. Смутный шум осеннего утра не нарушал их покоя. Иногда Ив приоткрывал глаза, видел это сосредоточенное и чистое лицо, на котором накопившаяся за

ночь усталость оставила свой отпечаток. Жан-Луи, избавившись от тревоги, точившей его с предыдущего вечера, отдался наконец глубокому отдыху, сидя возле кровати, на которой лежал его живой брат. Ближе к полудню он наспех что-то перекусил, не выходя из комнаты. День таял, словно песок, сыплющийся сквозь пальцы. Вдруг раздался телефонный звонок... Больной забеспокоился; Жан-Луи приложил палец к губам и прошел в кабинет. Ив испытывал счастье от того, что больше его ничто не касалось: пусть выкручиваются другие; Жан-Луи все устроит.

— ...из Бордо? Да... Дюссоль? Да, это я... Да, я вас слышу... Я ничего не могу поделать... Разумеется, поездка, которую невозможно было перенести... Да нет же. Жанен заменит меня. Нет... да... поскольку... я вам объясняю, я дал ему необходимые инструкции... Ну что ж, тем хуже... Да, я понял: больше ста тысяч франков... Да, я сказал: тем хуже...

— Повесил трубку, — сказал Жан-Луи, входя в спальню. Он опять сел около кровати. Ив спросил: не будет ли из-за него загублена сделка, о которой говорил Дюссоль? Брат заверил его, что перед отъездом принял все необходимые меры. Хорошим знаком было то, что Ив проявлял бес-

покойство о подобных вещах, что он волновался, получила ли Жозефа чек, который они решили ей послать.

— Старик, ты только представь себе, она его отправила обратно...

— Я же говорил тебе, что сумма слишком маленькая...

— Да нет же, она, наоборот, считает, что это слишком много. Дядя Ксавье передал ей из рук в руки сто тысяч франков. Она написала мне, что он испытывал мучительные угрызения совести из-за этих денег, считая, что не имел права отнимать их у нас. Она не хочет идти против его воли. Она лишь просит у нас, бедная женщина, позволения присылать нам поздравительные открытки на Новый год и надеется, что я буду сообщать ей новости обо всех нас и давать ей советы по поводу ее капиталовложений.

— А какие ценные бумаги приобрел для нее дядя Ксавье?

— Акции *«Старого Ломбарда»* и *«Русского Дворянства»,* 3,5%. С ними она может быта спокойна.

— Она живет в Ниоре, у дочери?

— Да... представь себе, она захотела также оставить у себя наши фотографии. Мари и Даниэль

считают, что с ее стороны это нескромно. Но она обещает, что никому не станет их показывать, будет хранить их в своем зеркальном шкафу. Что ты об этом думаешь?

Жан-Луи думал о том, что несчастная Жозефа проникла в тайну семьи Фронтенак и стала неотъемлемой ее частью, ничто больше не могло уничтожить ее причастность к ней. Разумеется, у нее были права на фотографии, на новогодние поздравления...

— Жан-Луи, когда Жозе вернется со службы, нужно, чтобы мы поселились вместе, прижались бы поплотнее друг к другу, как щенки в своей корзинке... (Он прекрасно понимал, что это невозможно.)

— Совсем как тогда, когда мы водружали столовые салфетки себе на головы и играли в «общину» в маленькой комнате, ты помнишь?

— Только представь себе, что эта квартира все еще существует! Но одни жизни стираются другими... По крайней мере хоть Буриде остался прежним.

— Увы, — ответил Жан-Луи, — сейчас много вырубают... Знаешь, что со стороны Лассю все будет вырублено под корень... И по обочине дорога тоже... Только представь себе мельницу в

окружении голых ланд...

— Но останутся сосны парка.

— Они «огрибковываются». Каждый год какое-то их число гибнет...

Ив вздохнул:

— Сосны семьи Фронтенак подточены, как и сами люди!

— Ив, хочешь, мы вернемся в Буриде вместе?

Ив, ничего не ответив, представил себе Буриде в это время суток: в сумеречном небе ветер, должно быть, то соединяет, то разводит в стороны, затем вновь перемешивает друг с другом вершины сосен, как будто бы у этих пленников есть секрет, который они спешат передать друг другу и разнести по всему свету. После ливня со всех деревьев падают крупные капли. Они выходят на крыльцо, чтобы подышать осенним вечерним воздухом. Правда, хоть Буриде еще и стоял перед глазами Ива, это было похоже на то, как несколько минут назад ему представлялась мать: в грезах, где она еще была живая, и при этом он знал, что она уже умерла. Точно так же и сегодняшний Буриде представлял собой лишь пустой кокон того, что было его детством, его любовью. Как объяснить такие вещи дорогому брату? Он сослался на то, что трудно будет долго оставаться вместе:

— Ты не смог бы дождаться, пока я выздоровею окончательно.

Жан-Луи не стал спрашивать его: выздоровеет от чего? (Он знал, что ему следовало бы спросить: выздоровеет от чего?) И удивился, что существует на свете столько молодых и симпатичных людей, как Ив, которым любовь приносит лишь страдания. Для них любовь неизменно сопряжена с мучительной игрой воображения. Но Жану-Луи она представлялась вещью самой что ни на есть простой, самой легкой... Ах, если бы только он не выбрал Бога! Он глубоко дорожил Мадлен и каждое воскресенье причащался, но уже два раза — сначала со служащей в конторе, затем с подругой своей жены — он заметил сигнал, на который уже почти готов был ответить... Ему пришлось много молиться; он вовсе не был уверен в том, что не согрешил желанием, потому что не понимал, как отличить соблазн от желания? Держа за руку своего брата, он с грустным удивлением вглядывался при свете ночной лампы в такое горестное выражение на его лице, плотно сжатые губы, все эти свидетельства усталости и истощения.

Возможно, Ив был бы счастлив, если бы Жан-Луи все-таки задал ему этот вопрос; но разделявшая их стыдливость была невероятно сильна.

Жан-Луи хотел было сказать ему: «Твое произведение...» Но этим вопросом он рисковал ранить его. Впрочем, он смутно чувствовал, что это произведение, если ему суждено быть дописанным до конца, оказалось бы всего лишь отражением его отчаяния. Он наизусть знал то стихотворение, в котором Ив, будучи еще почти ребенком, рассказывал: чтобы вырвать его из объятий тишины, ему, так же как и соснам Буриде, необходимо, чтобы налетели западные ветра, разразилась бы необузданная буря.

А еще Жан-Луи хотел ему сказать: «Домашний очаг... жена... другие дети Фронтенак...» Но особенно он хотел поговорить с ним о Боге. Но не осмелился.

Чуть позже (уже ночью) он наклонился к Иву, лежавшему с закрытыми глазами, и с удивлением обнаружил, что тот улыбается и даже уверяет, что не хочет спать. Жан-Луи обрадовался столь нежному и спокойному взгляду, которым брат долго смотрел ему в глаза. Ему хотелось бы знать, о чем думал Ив в этот момент; он не сомневался, что его младший брат думает о том, что большое счастье умереть не в одиночестве: нет, он не умрет в одиночестве; где бы смерть ни настигла его, он знал, что его старший брат обязательно

будет с ним, будет держать его за руку и проводит до порога страны теней так далеко, как только сможет.

А там, в краю Фронтенаков и Пелуеров, за затерявшимся участком, где обрываются все дороги, сияла луна над залитыми водой ландами; она царила прежде всего над той поляной, которую предваряют сосновые боры, поляной с пятью или шестью очень древними, огромными, коренастыми дубами, настоящими детьми земли, заставляющими разрозненные сосны тянуться вверх, к небу. Колокольчики уснувших овец мелко позвякивали в парке, под названием «парк Человека», в котором пастух семьи Фронтенак провел эту октябрьскую ночь. Если не считать всхлипывания какой-то ночной птицы, дребезжания трясущейся повозки, ничто не нарушало жалобы, которую от самого океана с благоговением передавали друг другу сосны своими переплетенными ветвями. В глубине хижины, оставленной охотником до зари, волновались обычно выполняющие роль манков голодные и непоеные вяхири с выколотыми глазами. Небесную высь прорезал полет журавля. Непролазная топь Тешуэйры собирала в своих укрытых камышами, торфом и водой таинственных уголках

парочки диких уток и чирков со свистящими крыльями. Если бы старики семейств Фронтенак и Пелуер восстали из мертвых в этой части света, они бы решили, что все в мире осталось на своих местах. А эти дубы, питаемые уже два века самыми потайными соками ланд, в эту минуту жили своей второй, очень эфемерной жизнью в мыслях лежащего в своей парижской комнате юноши, чей покой любовно оберегал его старший брат. Именно о тенистой поляне под ними думал Ив, размышляя о месте, где нужно было бы вырыть глубокую яму, чтобы поместить в нее, одно за другим, тела всех супругов, братьев, дядюшек, сыновей семьи Фронтенак. Так вся семья обрела бы благодать, и каждый смог бы обнять друг друга единым объятием, навсегда смешаться в своем небытии с этой обожаемой ими землей.

Вокруг сосны, наклонившиеся все в одну сторону из-за дувшего с моря ветра и повернувшиеся к западу своей черной от дождя корой, продолжали стремиться к небу, тянуться, изгибаться. Каждый сбережет свою рану — рану, отличающуюся ото всех других (каждый из нас знает, по чему кровоточит его рана). А сам он, Ив Фронтенак, раненый, засыпанный, как и они, песком, но существо свободное, существо, которое могло бы

вырваться из этого мира, предпочел понапрасну стонать, смешанный с остальными деревьями в лесу человечества. Но любой его жест был знаком мольбы, любым криком он стремился привлечь чье-то внимание. Он вспомнил изнуренное лицо матери под конец одного из сентябрьских дней в Буриде; ее глаза, которые старались за самыми верхними ветками отыскать Бога: «Я хотела бы знать, мой маленький Ив, ведь тебе так много известно... думают ли еще на небесах о тех, кого оставили на земле?» Поскольку она не могла представить себе такого мира, в котором ее сыновьями не был бы занят самый сокровенный уголок ее сердца. Ив убедил мать в том, что вся любовь воплотится в единой вселенской любви. Этой ночью, хотя прошло уже много лет, те же слова, что он произнес, желая успокоить свою мать, всплыли в его памяти. Ночник освещает чудесное лицо заснувшего Жана-Луи. О, божественная родственная связь! Подобие Божьей сути! Тайна семьи Фронтенак сумела избежать разрушения, ибо была лучом вечной любви, преломленной в рамках одного рода. Невероятный союз супругов, братьев и сыновей очень скоро канет в Лету, и последние сосны Буриде увидят проходящую, но уже не у их основания, в аллее,

идущей к большому дубу, а очень высоко, гораздо выше их вершин, группу навечно прижавшихся друг к другу матери и ее пятерых детей.

1933